

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ И НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Предисловие и публикация Вл. Б. М у р а в ъ е в а

Художественная проза Брюсова — наименее известная и наименее исследованная часть его творческого наследия. Отмеченные И. С. Поступальским в 1934 г.¹ пренебрежение критики и литературоведения к ней, недооценка ее значения для понимания творчества писателя в целом остаются фактом и в настоящее время. Статьи А. И. Белецкого, З. И. Ясневской, А. В. Лаврова и С. С. Гречишкина о романе «Огненный ангел» общего положения не изменили, так как они ограничиваются изучением отдельно взятого произведения вне связи с остальной прозой Брюсова. В общих же работах о Брюсове его прозе обычно уделяется несколько поверхностных строк. Она определяется расплывчатым термином «символистская проза», а как почти единственное ее достоинство отмечается ее «познавательность».

Но, вопреки установившемуся мнению, в творческой жизни Брюсова проза занимала место, пожалуй, не меньшее, чем поэзия. Соплелся на свидетельство И. М. Брюсовой: «Мы хорошо знаем Брюсова-поэта, критика, переводчика, но, в сущности, гораздо меньше знаем Брюсова-беллетриста. А между тем, Брюсовым-беллетристом написан ряд появившихся в печати повестей: «Огненный ангел», «Алтарь победы», «Обручение Даши», сборники рассказов — «Земная ось», «Ночи и дни» и много других прозаических произведений, не собранных в отдельные сборники, а оставшихся в альманахах, журналах и газетах. Брюсов, тайно увлекаясь своими художественными прозаическими работами, не уставал переделывать и отшлифовывать каждый свой рассказ или повесть по многу раз, он вкладывал в обработку их гораздо больше сил и энергии, чем можно было предполагать. Он сам признавался, что «поэзия» была ему более подвластна, чем «проза». Это, однако, не мешало ему упорно, преодолевая все трудности, затевать все новые и новые работы в этой области. И он даже, по свойственной ему привычке, несмотря на то что время приходилось уделять на обработку прозы лишь урывками, успевал работать одновременно над несколькими вещами, подготавливая себе материалы, в ожидании более благоприятного часа, чтобы приняться за любимый труд, за окончательную отделку, за подготовку к печати своей прозы»².

Задача будущего — уяснить в полной мере значение работы Брюсова в области художественной прозы для его собственного творческого пути, определить направление его художественных исканий, выявить его достижения. Все это станет возможным лишь при условии включения в сферу исследования не только всех изданных произведений, но и всех оставшихся в архиве материалов, относящихся к работе Брюсова-прозаика.

Именно эта неопубликованная часть творческого наследия писателя обещает много интересного. «Не имея времени (а может быть, и мужества) работать над рукописями, которые пока нет надежды напечатать, — писал Брюсов в 1916 г., — я принужден свои самые любимые замыслы оставлять в набросках, в планах или прятать написанное к себе в стол»³.

Безусловно, в числе оставшихся в архиве и незаконченных произведений имеются и явно неудавшиеся и оставленные Брюсовым сознательно (об этом говорят авторские надписи на некоторых рукописях: «плохо», «неудачно»), но все же значительная их часть относится к разряду «любимых замыслов», к которым Брюсов возвращался неод-

нократно, завершению и публикации которых препятствовали не внутренние, а внешние причины.

Неопубликованными и незавершенными остались около ста произведений Брюсова-прозаика. Среди них есть совершенно законченные, подготовленные к печати работы; законченные в основном, но недоработанные; начатые (часто в нескольких вариантах), но незаконченные; есть отдельные краткие наброски. Степень законченности того или иного произведения важна для читателя, но в истории внутреннего развития Брюсова неизданное, незавершенное произведение имело такое же значение, как и «дошедшие до слова и до света». Напомню слова самого Брюсова из статьи «Неоконченные повести из русской жизни», в которых он, комментируя Пушкина, невольно опирается и на собственный творческий опыт: «Не считая «Арапа Петра Великого» и «Египетских ночей», двух замыслов, принявших более или менее отчетливые очертания, мы знаем еще об одиннадцати повестях Пушкина, оставшихся, так сказать, в зародыше [...] Нет сомнения, что каждое из этих неосуществленных созданий Пушкина было им столь же любовно лелеяно, как и его другие, более счастливые замыслы. На основании сохранившихся «программ» и «планов» поэм и повестей Пушкина мы знаем, как подробно и основательно обдумывал он все свои произведения, прежде чем приступал к их словесной обработке. Мы вправе заключить по аналогии, что и те повести, от которых дошли до нас лишь отрывочные страницы и разрозненные главы, самому Пушкину представлялись хотя бы и «сквозь магический кристалл», но во вполне законченных формах. Там, где мы порою затрудняемся уловить даже основную идею рассказа, для Пушкина был целый мир, полный разнообразных событий и населенный толпою людей, которым лишь та или другая случайность не дала воплотиться в художественных образах»⁴.

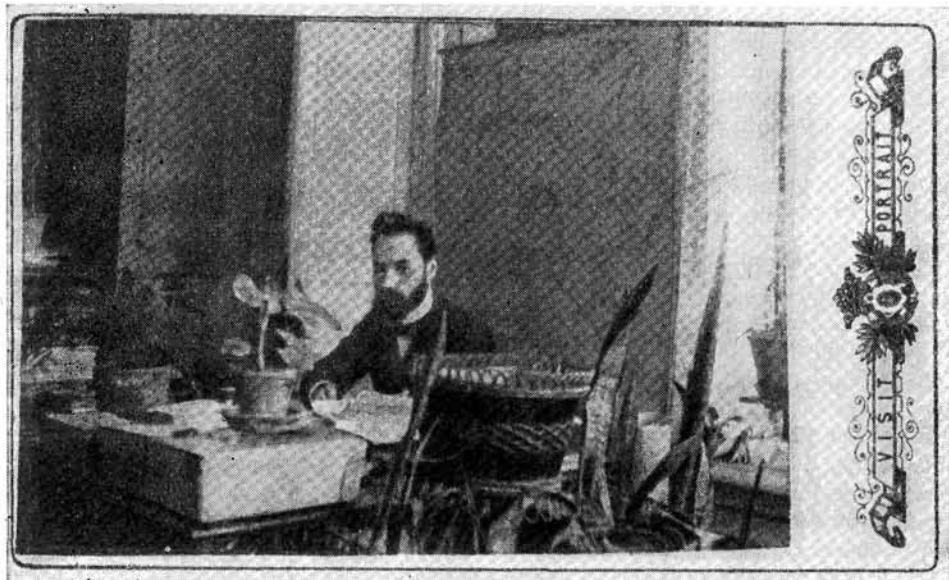
К некоторым замыслам Брюсов возвращался неоднократно, об этом содержится достаточно сведений в печати и в материалах архива. Видимо, именно эти разрабатываемые и варьируемые в течение многих лет темы мы можем, пользуясь определением самого Брюсова, назвать «самыми любимыми», и, конечно, они наиболее интересны для исследователя.

2 января 1893 г. Брюсов набросал в дневнике «программу этого года». Поставив себе задачу выступить «на литературном поприще», он писал: «Между прочим сделаю пробу. Пошлю переводы из Верлена в «Новости иностранной литературы», «Тени» — в «Артист», и «Николая» — в «Ребус»⁵. Эта запись позволяет точно определить круг произведений, которыми Брюсов считал возможным дебютировать в печати. Наряду со стихами здесь назван рассказ «Николай»⁶. В 1893 г. Брюсову напечататься не удалось; впоследствии он включал в сборники и собрание сочинений стихи 1892—1893 гг.; ранние прозаические произведения остались неопубликованными, но в планах и занятиях Брюсова тех лет художественная проза занимала существенное место⁷.

Брюсов стремился беллетризировать даже гимназические сочинения. Так, с явным стремлением ввести элементы художественности написано сочинение 1892 г. «Эдин-царь». Разбор сообразно с поэтикой Аристотеля⁸. Вместо школьного анализа «образов» по плану-шаблону, Брюсов описывает представление трагедии Софокла в древних Афинах и по ходу действия трагедии дает ей толкование. Правда, в этом сочинении беллетризированы только вступительная и заключительная части, в которых содержится описание театра и зрителей, средняя же часть почти лишена беллетризации.

Зато сочинение на тему «Гораций» (январь 1893 г.) уже совершенно откровенно облечено в беллетристическую форму. «... дана была тема «Гораций», — вспоминает Брюсов. — Я написал рассказ из римской жизни времен Августа — «У Мецената». Поливанов написал мне по сочинению: «Подобные сочинения должны быть частными занятиями, которым нельзя не сочувствовать, но нужно упражняться и в сочинениях школьных, которые имеют свои требования, для вас очень и очень бесполезные», — но в журнале поставил пятерку»⁹.

Для Брюсова рассказ, представленный гимназическому преподавателю вместо обычного школьного сочинения, был своеобразной попыткой заявить себя литератором. Характерно содержание рассказа: спор между поэтами старшего поколения и



БРЮСОВ В СВОЕМ РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ

Фотография. Москва, 1895

На обороте помета Брюсова: «1895»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

молодым Овидием. Собственно не Гораций, а Овидий — главный герой рассказа, и в доводах и утверждениях Овидия совершенно определенно слышен голос молодого Брюсова, уже начинающего осознавать себя вождем новой литературной школы (известная запись о себе как о вожде нового направления будет сделана в дневнике через месяц, 4 марта).

Этим ранним опытом художественной прозы Брюсова и открывается настоящая публикация. Печатаемые далее незавершенные произведения Брюсова-прозаика можно сгруппировать по трем основным тематическим разделам: изображение современной русской действительности, историческое прошлое и область фантастики.

К первой группе принадлежит рассказ «Голубочки — это непорочность» (1898), представляющий собой художественно преобразованные воспоминания Брюсова о его деде со стороны матери, А. Я. Бакулине (1813—1893) — «писателе-самоучке», участнике сборника «Рассвет». Ему Брюсов посвятил несколько очень теплых страниц в повести «Моя юность», в мемуарных записях «Памяти» и небольшую статью «Стихотворения и басни А. Я. Бакулина»¹⁰.

Брюсов признавал более чем скромным поэтическое дарование деда, его стихи он называет «милыми реликвиями», но его привлекала, вызывая уважение и восхищение, глубокая преданность деда литературе. Он «был довольно замечательным человеком, — отмечает Брюсов, — (...) Он был поэт»¹¹. Брюсов сочувствует деду, рассказывая о том отношении, которое сложилось в семье к его занятиям литературой: «Над дедом за его пристрастие к чтению, к стихам, за то, что сам исписывал груды бумаги, проводя за такой работой бессонные ночи, все кругом смеялись: сначала — старшие, отец и мать, после — братья, сослуживцы, знакомые, еще позже жена, а за ней — сыновья и дочери, особенно дочери. Этот смех застал еще я»¹². По-линому складывались взаимоотношения с дедом самого Брюсова: «Дед первоначально любил меня, посвятил мне одну сказку и длинное стихотворение «Волки». Позже он интересовался моими литературными опытами и отстранился от меня окончательно лишь после появления первого выпуска «Русских символистов»¹³.

В рассказе «Голубочки — это непорочность» наиболее сильно звучит человеческая жалость к «бедному дедушке», который предстает слабым, незащищенным, обижаемым родными стариком. Двадцать пять лет спустя, в «Памяти» (конец 1923 г.), образ деда — «поэта-неудачника», всю жизнь прожившего «интересами, чуждыми и непонятными всем его близким, всем его окружающим», приобретает эпические черты, и линия литературного подвижничества, едва намеченная в рассказе «Голубочки — это непорочность», получает здесь главенствующее значение.

Можно отметить в рассказе и свойственную Брюсову любовь к Москве, к ее патриархальному облику; город здесь не враждебен человеку, а дружелюбен ему. Брюсов пишет об Анюте — девочке одиннадцати лет: «Она полюбила Москву. В этих грязных улицах, в этих неровных домах чудилась ей странная красота».

Традиционную для русской классической литературы демократическую и глубоко гуманистическую тему «маленького человека», обиженного и униженного косной обывательской средой, Брюсов разрабатывает и в некоторых других произведениях. Это рассказ «Бемоль» со знаменательным подзаголовком: «Из жизни одной из малых сих» (1903)¹⁴, повесть «Обручение Даши» (1914—1915) и оставшаяся в рукописи повесть «Моцарт» (1915), реалистически изображающая драму бедного музыканта¹⁵. Особое место среди произведений Брюсова о современной ему русской действительности занимает незаконченный роман из жизни московской купеческой семьи (1914—1917), главы которого печатаются в настоящем томе. Вызывая в памяти страницы горьковского «Дела Артамоновых», эти главы позволяют увидеть, что творчество Брюсова-прозаика все более развивалось в направлении к социальскому реализму.

Довольно прочно утвердилось мнение о «чужестранности» (М. Цветаева¹⁶) Брюсова, подкрепленное утверждением А. Ильинского: «В то время как темы из древнеримской жизни являются любимым замыслом Брюсова со школьной скамьи до последних его дней, совершенно случайными являются темы исторических рассказов, повестей, романов и драм из русской жизни»¹⁷.

На такой вывод безусловно повлиял тот факт, что оба опубликованных исторических романа Брюсова не касаются русской тематики. Однако даже в «Огненном ангеле» можно отметить любопытную деталь: Мефистофель, рассказывая о путешествии с Фаустом по различным странам (часть II, глава XII), особенно выделяет путешествие в Московию, где «доктор Фауст показывал свою ученость при дворе княгини Елены, но остаться там не пожелал из-за лютых морозов». Московия — единственная страна, где Фауст выступает, по рассказу Мефистофеля, активно действующим лицом, в других же — в Италии, Греции, Египте, Турции — он всего лишь любопытствующий наблюдатель. В народной книге И. Шписа, послужившей источником для этого эпизода, нет ни Елены, ни показа учености, ни ссылки на лютые морозы, а содержится лишь беглое упоминание о России, зато о пребывании Фауста в остальных странах рассказано более или менее подробно.

Тема пребывания Фауста в России занимает Брюсова и позднее. Около 1910 г. он записывает план драмы «Фауст в Москве»¹⁸. Однако продуманная в деталях и, возможно, целиком «проигранная» в мысленном театре (все ее картины точно хронометрированы: «Пролог» — 10 минут, 3-я картина — 18 минут, 4-я картина — 5 минут и т. д.) драма эта осталась ненаписанной.

Попытки перенести литературного или фольклорного героя-иностранца в русские условия Брюсов предпринимал неоднократно. В сказке «Фея Лилия» это — «немецкая фея»¹⁹, в рассказе «Таинственный посетитель» — некий «бес», ведущий происхождение от «Хромого беса» Лесажа, очутившийся в Москве начала XX в.²⁰ К ним можно присоединить Арсена Люпена, героя детективных романов Мориса Леблана, — в незавершенном рассказе «Арсен Люпен в России» (1922)²¹. Того же плана замысел рассказа «Путешествие по России фон-Арнима в 1846 году» (1903)²².

Поскольку в подобного рода произведениях герой-иностранец является по сути дела поводом, чтобы рассказать о стране, в которую он попадает, с достаточным основанием можно назвать все эти произведения Брюсова произведениями на русскую тему.

О том, что русская историческая тематика занимала в творческих замыслах Брю-

сова значительное место свидетельствует и программа грандиозной историко-художественной книги «Фильмы веков»²³, которая должна была охватить период от Атлантиды и Древнего Египта по крайней мере до конца XVIII в. (в плане есть тема «С. Ш. А.»). В плане книги представлены государства и народы Европы, Азии, Америки — Египет, Ассирия, Эллада, Рим, Византия, Арабы, Армения, Персы, Индия, Майя, Франция, Германия, Италия, Англия и др. И в этом перечне, содержащем 66 тем, русская историческая тема занимает 12 номеров, т. е. пятую часть (для сравнения: Эллада — 3 темы, Рим — 7 тем, Франция, Германия, Италия, Англия — по 4 темы). К сожалению, неизвестно, какие именно русские темы предполагал разработать Брюсов, так как в плане дано лишь их общее количество: «55—66. Россия. I—XII» с отсылкой: «см. отдельно». Отдельного списка не обнаружено, однако, место, уделенное в этом плане русской теме, само по себе показывает степень интереса Брюсова к русской истории.

Для Брюсова-прозаика характерно использование в качестве художественного приема внешних форм документальной прозы — мемуаров, записи рассказа очевидца, частной и официальной переписки, научного отчета и т. д., что создает дополнительный эффект достоверности. Особенно часто Брюсов прибегает к этому приему в произведениях на исторические темы. В форме записок современника написаны самые крупные его прозаические произведения — романы «Огненный ангел» и «Алтарь победы», в форме мемуаров непосредственного участника событий был им задуман и роман из эпохи движения декабристов — «Записки декабриста Малинина», страницы которого публикуются ниже. Александр Никанорович Малинин — лицо вымышленное (среди лиц, связанных с движением декабристов, известен лишь один Малинин — полковник, который по заданию Следственного комитета проверял показания некоторых участников восстания). Выбор подобного героя давал простор авторской фантазии, представлял возможность создать собирательный образ.

Имитируя издание подлинных мемуаров, Брюсов снабжает «Записки декабриста Малинина» двумя предисловиями — редактора и автора, в которых содержатся некоторые сведения об авторе, о манускрипте записок, о принципах их издания.

Время работы над фрагментами «Записок декабриста Малинина» предположительно можно отнести к 1912 г., когда Брюсов, заведовавший тогда литературным отделом «Русской мысли», ознакомился с романом Мережковского «Александр I и декабристы» (напечатан под названием «Александр I»). Мережковский в письме к Брюсову от 14 марта 1912 г. писал: «Очень горжусь тем, что роман мой внушил вам желание написать повесть из 20-х годов» (ГБЛ, ф. 386. 94.45, л. 24).

В «Предисловии редактора» сообщается, что рукопись записок Малинина была найдена им летом 1904 г. Эту дату можно сопоставить с публикацией как раз летом 1904 г. в «Историческом вестнике» мемуаров Н. А. Бестужева «Из воспоминаний о К. Ф. Рылееве»²⁴. Мемуары, прочитанные Брюсовым скорее всего в том же 1904 г., дали, возможно, первоначальный толчок к замыслу «Записок Малинина», близких к воспоминаниям Бестужева стилистически; также близка и общая трактовка события 14 декабря, как «горестного и безнадежного», но «не прошедшего бесследно, ибо память его поныне призывает стремиться к светлым целям...»

Если учесть еще, что у Брюсова были замыслы таких исторических драм, как «Марина Мнишек» (1897)²⁵ и «Петр Великий» (1908—1909)²⁶, то можно прийти к выводу, что Брюсова в русской истории привлекали узловые исторические эпохи и самые значительные социальные и политические движения: национально-освободительная борьба начала XVII в., эпоха Петра I, декабристы. Отметим также, что в повести «Обручение Даши» (1915), основанной на материалах семейного архива писателя, проявился его интерес к эпохе 60-х годов XIX в. с их идейными веяниями, коснувшимися и патриархально-купеческой среды.

Будучи мастером литературной стилизации, Брюсов обращается и к русскому народному сказу. Его «Рассказы Маши с реки Мологи», включенные в настоящую публикацию, по форме представляют собой якобы фольклорную полевую запись, что должна подтверждать авторская справка: «Записано Новгородской губ., Устюжнинского уезда на р. Мологе, в 1905». Рассказы устюжнинской Маши о дворовых, домовых, баеч-

никах-перебаечниках и других представителях деревенской «нечистой силы», безусловно, имеют фольклорный источник. Но характер работы над рукописью, с вариантами и правкой отдельных слов и выражений, убеждает в том, что перед нами оригинальное художественное произведение, лишь имитирующее фольклорный, сказовый стиль.

В «Рассказах Маши» Брюсов проявляет себя знатоком народной фантастики. Фантастическое во всех его проявлениях и аспектах всегда привлекало внимание Брюсова и находило отражение в его художественной практике.

Разновидностям фантастики как литературного жанра посвящена незаконченная и неопубликованная статья Брюсова «Пределы фантазии»²⁷. Эта статья, написанная не ранее 1911 г. (наиболее позднее литературное произведение, упоминаемое в ней, роман Рони-старшего «Борьба за огонь» напечатан в 1911 г.), не только является свидетельством глубокого интереса Брюсова к жанру фантастики, но и содержит интересные теоретические обобщения.

Брюсов перечисляет «три приема, которые может использовать писатель при изображении фантастических явлений: 1. Изобразить иной мир — не тот, где мы живем. 2. Ввести в наш мир существо иного мира. 3. Изменить условия нашего мира». В эту схему укладывается все разнообразие литературно-художественной фантастики, включая и мистическую фантастику, и фантастику научную.

Завершающие настоящую публикацию произведения относятся к научно-фантастическому жанру и объединены общей проблематикой технического прогресса. Это прежде всего два однотемных отрывка «Восстание машин» и «Мятеж машин».

В перечне работ и замыслов Брюсова, относящемся к 1908 г., встречается тема «Ожившие машины»²⁸. К этому же времени А. Ильинский относит и первоначальный, неоконченный вариант рассказа «Восстание машин. Из летописей ***-го века»²⁹.

В конце 1910 г. название «Ожившие машины» встречается в плане цикла «Злые сказочки»³⁰, состоящем из трех рассказов: «Университет»³¹, «Бревно»³², «Ожившие машины». Но замысел этого последнего, не осуществленного тогда рассказа плохо вяжется с остальными рассказами цикла, написанными в 1910 г. и являющимися скорее облегченными, поверхностными анекдотами, близкими к «сказочкам» Ф. Сологуба.

Вновь к теме «ожившие машины» Брюсов возвращается в 1915 г. Фрагмент 1915 г. по содержанию как бы предваряет фрагмент 1908 г., являясь своего рода историко-теоретическим предисловием к рассказу о самом событии; здесь же, в примечании, содержится авторское указание на главную задачу рассказа — показать «то темное и грозное, ту «пропасть», в которую ведет фетишизация техники, превращение человека в результате одностороннего развития цивилизации в жалкий придаток, в раба машин.

Если в «Восстании машин» и «Мятеже машин» изображается отрицательный результат успехов технического прогресса, то в набросках научно-фантастической повести о полете землян на Марс «Первая междупланетная экспедиция» (вариант названия «Экспедиция на Марс»), относящихся к 1920—1921 гг., речь идет о большом достижении науки и техники. И хотя все герои повести Брюсова погибают, им удалось, по замыслу автора, все же — впервые в истории человечества — вступить на почву другой планеты.

Повесть должна была состоять из предисловия «От издателей», предисловия редакторов и записок одного из участников экспедиции. Только первое предисловие было написано полностью, второе осталось незаконченным, а основное повествование представлено лишь неполными тремя главами. Замысел повести претерпевал в процессе работы некоторые изменения, о чем говорит наличие набросков более ранней редакции. Менялись и имена персонажей (поэтому они не совпадают и в разных частях нашей публикации — в предисловии «От издателей» и в тексте записок).

Мысль написать о межпланетном путешествии принадлежит к числу наиболее ранних замыслов Брюсова, зародившихся еще в детские годы. Важной вехой в развитии темы космического полета для Брюсова послужило знакомство с работами Н. Ф. Федорова. «Русский философ Федоров, — пишет Брюсов в статье «Пределы фантазии», —

серьезно проектировал управлять движением Земли в пространстве, превратив ее в огромный электромагнит. На Земле, как на гигантском корабле, люди могли бы посетить не только другие планеты, но и другие звезды. Когда-то я пытался передать эту мечту философа в стихах, в своем «Гимне Человеку»:

Верю, дерзкий! ты поставишь
По Земле ряды ветрил.
Ты своей рукой направишь
Бег планеты меж светил...

В перечне замыслов 1908 г. Брюсовым назван рассказ «Путеводитель по Марсу»³³; к дореволюционным годам (судя по орфографии) относится имеющийся в архиве листок с математическими расчетами о времени перелета с Земли до Марса³⁴. В архиве писателя имеется также вырезка из газеты «Речь» с сообщением о докладе Я. И. Перельмана «Междупланетные путешествия; в какой степени можно надеяться на их осуществление в будущем», состоявшемся 20 ноября 1913 г. в «Русском обществе любителей миропведения»³⁵.

Но в дореволюционные годы Брюсов интересовался темой междупланетных полетов не специально, а, так сказать, попутно. Именно первые годы революции с их пафосом устремленности в будущее побудили его заняться вплотную темой освоения космоса; заметим, что действие публикуемой повести он относит ко времени победы революции во всем мире, употребляя по отношению к участникам экспедиции — американцам советскую форму обращения «товарищ».

В 1919—1920 гг. Брюсов знакомится с работами К. Э. Циолковского, интересуется им самим и задумывает написать книгу о нем. Каких-либо следов работы над книгой о Циолковском пока не обнаружено, но имеется авторитетное свидетельство об этом замысле и об отношении Брюсова к Циолковскому.

Осенью 1920 г. состоялась встреча Брюсова с ученым-гелиобиологом, поэтом, сотрудником и другом Циолковского — А. Л. Чижевским. Брюсов пригласил его к себе специально для разговора о Циолковском.

А. Л. Чижевский оставил воспоминания об этой встрече³⁶.

По свидетельству Чижевского, Брюсов назвал Циолковского человеком исключительного дарования, оригинальным мыслителем. Он сказал: «Циолковский — интереснейшая личность нашего века. Скала среди бурного океана непонимания. Будущее поколение создаст о нем легенды».

«Я интересуюсь, — говорил Брюсов, — не только поэзией, но и наукой, вплоть до четвертого измерения, идеями Эйнштейна, открытием Резерфорда и Бора... Материя таит в себе неразгаданные чудеса... Что такое душа, как не материальный субстрат в особом состоянии! Но Циолковский занимается вопросами космоса, возможностью полета не только к планетам, но и к звездам. Это несказанно увлекательно и, по-видимому, будет осуществлено... Меня интересует личность Циолковского... Ведь он только учитель городской школы, а как далеко он продвинул свои идеи! Многие его не признают, но это ровно ничего не значит — великих людей часто признают только после их смерти. Не в этом, конечно, дело, а в том, что он является носителем сказочной идеи о возможном полете в другие миры на ракетных кораблях. Эти идеи вдохновили меня на создание нескольких стихотворений... Читали ли вы их? по этому вопросу я говорил с некоторыми нашими физиками — они смеются над Циолковским, но принципа ракеты не отрицают. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. К Циолковскому отношение несерьезное, но я бы написал о нем книгу, я думаю об этом...»

Рассказывая о темах этого разговора, Чижевский отмечает, что «Брюсова больше всего интересовал вопрос о возможности полета в космос». Это и понятно: как раз в то время Брюсов работал над повестью «Первая междупланетная экспедиция».

Надо отметить, что повесть Брюсова по поставленным автором перед собой задачам и подходу к материалу близка к научно-фантастическим повестям Циолковского. Как и повести Циолковского, она более научна, чем фантастична, главной ее темой является научное познание, содержанием — сообщение пусть гипотетических, но осно-

ванных на данных науки сведений, ее занимательность заключена в занимательности самого научного материала.

Ввиду малой изученности работы Брюсова как прозаика, окончательные выводы в отношении его прозы преждевременны, поэтому и настоящее предисловие содержит лишь некоторые фактические пояснения к небольшому комплексу прозаических произведений и замыслов Брюсова, правда, хронологически охватывающему весь его творческий путь.

Несомненно одно: работа Брюсова в области художественной прозы занимает важное, а в отдельные периоды даже ведущее место в его творческой жизни и по своему характеру часто является экспериментальной, что нашло отражение и в одном замечании 1912 г., сделанном как бы мимоходом, но имеющем под собой глубокий личный опыт:

«Неужели начинающие поэты не понимают, что теперь, когда техника русского стиха разработана достаточно, когда красивые стихи писать легко, по этому самому *трудно* в области стихотворства сделать что-либо свое.

Пишите прозу, господа!

В русской прозе еще так много недочетов, в обработке ее еще так много надо сделать...»³⁷.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ И. П. О с т у п а л ь с к и й. Проза Валерия Брюсова. — В кн.: *Неизд. проза*, стр. 159.

² И. М. Б р ю с о в а. Неопубликованный вариант предисловия к сб.: *Неизд. проза*. ГБЛ, ф. 386.67.8, л. 2—3.

³ ЛН, т. 27-28, стр. 474.

⁴ *Мой Пушкин*, стр. 95—96.

⁵ *Дневники*, стр. 10—11.

⁶ Другое название рассказа — «Его любовь». ГБЛ, ф. 386. 35 б. 55.

⁷ Обзор ранних прозаических работ и замыслов дан в статье Н. К. Гудзия «Юношеское творчество Брюсова» (ЛН, т. 27-28).

⁸ ГБЛ, ф. 386.4.7.

⁹ *Из моей жизни*, стр. 70—71.

¹⁰ РА, 1903, № 3, стр. 437—444.

¹¹ *Из моей жизни*, стр. 11.

¹² Там же, стр. 90.

¹³ Там же, стр. 12.

¹⁴ «Земная ось». М., 1907; 3 изд. — 1911.

¹⁵ ГБЛ, ф. 386.35.5—9.

¹⁶ М. Ц в е т а е в а. Проза. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1953, стр. 259.

¹⁷ ЛН, т. 27-28.

¹⁸ ГБЛ, ф. 386.30.10.

¹⁹ ГБЛ, ф. 386.35.48.

²⁰ ГБЛ, ф. 386.35.43.

²¹ ГБЛ, ф. 386.34.12.

²² ГБЛ, ф. 386.35.17.

²³ Второй план книги «Фильмы веков» с подзаголовком «66 картин из жизни народов разных времен и стран». ГБЛ, ф. 386.35.47, л. 3.

²⁴ «Исторический вестник», 1904, кн. IV, стр. 118—135.

²⁵ *Дневники*, стр. 28.

²⁶ ЛН, т. 27-28, стр. 470.

²⁷ ГБЛ, ф. 386, 53.5, л. 1.

²⁸ ГБЛ, ф. 386.4.34.

²⁹ ЛН, т. 27-28, стр. 457.

³⁰ ГБЛ, ф. 386.35.1, л. 1.

³¹ «Огонек», 1925, № 40.

³² «Красная Нива», 1926, № 42.

³³ ГБЛ, ф. 386.4.34.

³⁴ ГБЛ, ф. 386.35.11, л. 4.

³⁵ ГБЛ, ф. 386.67.8.

³⁶ А. Л. Ч и ж е в с к и й. Вся жизнь. М., «Советская Россия», 1974, стр. 74—79.

³⁷ *Далекие и близкие*, стр. 199—200.

У МЕЦЕНАТА

...Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а щука тянет в воду.
Эпиграф из «Литературного вечера»
Гончарова ¹

В кружке Мecenата участвовали сегодня необычные посетители.

Было время, когда этот кружок царил в Риме полновластно. К его мнениям прислушивались; его суждение было приговором для начинающего писателя.

Но, как и должно было ожидать, деспотизм вызвал противодействие. Сначала некто Мессала позавидовал положению Мecenата и собрал свой литературный кружок, где роль главного поэта разыгрывал Тибулл. Там нашли себе приют противники Горация, сторонники Александрийской поэзии и старины, Тигеллий, Деметрий. Затем, через несколько лет, образовалось более серьезное общество, которое группировалось вокруг Овидия. Здесь были и такие имена, как Макр (Масер), уже пожилой талантливый писатель, не попавший ни к Мecenату, ни к Мессале, но главным образом собирались молодые поэты, как Сабин, сотоварищ Овидия, или Тутикан, прославившийся впоследствии переводом Одиссеи. Посещал эти собрания также Проперций, который собственно принадлежал к кружку Мecenата.

Овидий в это время только что выступал из рядов заурядных поэтов, которых было так много в век Августа. Еще юношей он декламировал публично свои стихи, никого не поразившие; потом издал «*Heroides*», тоже прошедшие незамеченными. Внимание было привлечено только отрывками из новой поэмы, которую Овидий, по своему обыкновению, сначала декламировал. Наконец появились первые три книги «*Amorum*» * и сразу поставили Овидия на одно из первых мест среди современных писателей. Его стихами прямо увлекались, и некоторое время весь Рим повторял их.

Этот необыкновенный успех заставил кружок Мecenата обратить внимание на молодого поэта. Круг старых корифеев, все еще называвшийся молодою школою, с каждым годом становился все теснее. Не так давно опустело одно славное место, выбыл любимый, добрый товарищ, едва ли не основатель общества: умер Вергилий. Прилив новых сил был бы очень кстати, и Мecenат поручил Проперцию стороною разузнать настроение нового кружка. Проперций принес известие, что там глубоко уважают прославленных творцов новой поэзии и против соединения не имеют ничего. Таким образом произошло то, что в тесный круг друзей вступили сегодня новые лица.

Мecenат не забыл мудрого правила, чтобы число собеседников не было менее числа граций и более числа муз. Из обычного общества были приглашены только наиболее известные лица и лучшие друзья хозяина: Варий, Гораций, Тукка и Проперций. С Овидием прибыл его лучший друг Сабин, а, чтобы придать больше веса посещению, и старик Макр.

Всех было восьмеро.

На главном месте, как хозяин, помещался Мecenат, одетый по обыкновению в широкую, свободную тогу. Рядом с ним возлежал Гораций. В это время он был уже немолод, а на лицо казался старше своих лет. Невысокий и сутуловатый, он привлекал к себе только открытым взором и задумчивым

* «Любвнных песен» (лат.).

выражением лица. В последние годы его жизни прежняя постоянная веселость, которую он получил от природы, сменилась скорее грустным настроением.

С другой стороны Мецената оказался Проперций. Он поместился так, что был близко ото всех. Вдали от него остался разве только Плоций Тукка, который важно возлежал на противоположном конце стола с глубокомысленным выражением лица.

Овидий, Сабин и Макр расположились рядом. Свободнее всех чувствовал себя Овидий. С обычной веселостью осматривал он общество и с трудом скрывал усмешку, когда встречал суровый взгляд Вария. Этот вообще был недоволен предстоящим соединением двух обществ; обращение гостей раздражало его еще более. Он свысока посматривал на них, с полным сознанием своей гениальности и своего значения как величайшего римского поэта.

Первое время разговор клеился плохо, так как положение собеседников было слишком условным. Впрочем, все собравшиеся вполне обладали тем искусством вести разговор, которое так ценилось в Риме и для которого был особый термин *urbanitas*. Сначала Тукка произнес несколько приветственных слов, потом говорили о цели собрания.

— В наше время нельзя работать отдельно, — говорил Меценат. — Рим соединился в одну семью.

— И мы должны соединиться, — подтверждал Проперций.

— Свершилось великое деяние, — продолжал Меценат, — и государство римское, ставшее единым, призывает всех нас трудиться на мирном поприще.

— Оно и приятнее, — заметил Овидий, — я, например, всегда предпочитал надевать венок, а не шлем и надеюсь до конца жизни не брать в руки меча.

— Это, пожалуй, немного слишком, — мягко возразил Гораций. — Суровая военная служба укрепляет человека и учит юношу терпеливо переносить все невзгоды жизни.

Эта фраза была наполовину поучением. Разговор с самого начала сбивался на общие вопросы, что было совершенно в характере пиров у Мецената. У него не бывало ни плясок танцовщиц, ни драматических представлений, и лучшим развлечением для гостей служила серьезная беседа.

Видно было, что слова Горация затронули Овидия, и Сабин поспешил защитить его.

— Хорошая выйдет школа для юноши, если он будет убит!

— Поверь, что умереть за отечество не только славно, но и приятно.

Проперций восторженно поднял глаза к потолку.

— Кабы мы сами да следовали своим советам, — в сторону, но так, чтобы его слышали, проговорил Сабин.

Этот намек заставил Горация смутиться. Как это с ним всегда бывало при насмешке, он не нашелся, что сказать. Овидий строгим взглядом остановил товарища. Все почувствовали себя неловко, и только Проперций, заметя, что Гораций и Меценат не видят его, сделал вид, что смеется.

— Это, кажется, упрек нашему другу, — сказал Тукка. — Ты хочешь напомнить поражение Брута?

— Никто из нас не упрекает Горация, — поспешил вмешаться Макр. — Наш великий поэт уже давно сам произнес суд над этой ошибкой юности.

Проперций тотчас продекламировал:

С тобой Филиппы вместе я пережил,
В отчаянном бегстве бросив постыдно щит,
В тот час, как доблесть погибала.
Гордые ж воины лежали в прахе.

— Вопрос, в котором мы никогда не сойдемся с тобой, добрый Гораций.

— Я скорей соглашусь с тобой, Меценат,— заметил Овидий.— У жизни надо брать все, что она может дать.

— Зачем так много? В жизни надо искать только счастья,— возразил Гораций.— Кто не предпочтет быть счастливым поденщиком, чем несчастным завоевателем.

— Я и стремлюсь к счастью, когда вырываю у жизни ее дары! — воскликнул Сабин.

— Всем обладать невозможно. Сколько бы ты ни имел, всегда найдешь, чего добиваться еще, и тебе придется вечно гоняться за счастьем, никогда не испытывая его.

— Может быть, счастьем мы и называем именно эту погоню за ним,— возразил Овидий.

— Вряд ли забота может быть счастьем. Посмотрите на весь мир; все стремятся только к одному, ищут только одного: спокойной жизни.

— Итак, счастье — обладание? — вставил Варий.— Быть счастливым значит не искать, а иметь. Отсюда, чем большим обладаешь, тем счастливее.

— Ты не так объясняешь мои слова, Варий. Разве я когда-либо указывал счастье в богатстве? Я даже не понимаю, как его можно видеть там. Счастье — это душевное состояние, а его не купишь за деньги.

— За деньги купишь твою спокойную жизнь. Жить спокойно можно благодаря деньгам.

— Ты противоречишь самому себе. Жить спокойно можно и с маленьким достатком. Подумай хотя вот о чем. Ведь рано или поздно ты умрешь, куда же денутся твои деньги?

— Перейдут к детям,— тотчас объяснил Тукка.

— А если и дети будут рассуждать так же, как вы, и все собирать, собирать, ничем не пользоваться?

— Он попал на своего конька,— шепнул Овидию Проперций, который в серьезные разговоры не вмешивался.— Теперь будет говорить, пока не усypит всех.

— Ну и выпрашивать кусок хлеба у прохожих не особенное-то счастье,— заметил Горацию Сабин.

— Зачем такие крайности? Всеу есть разумная мера. Счастье именно в золотой середине, когда человек далек от забот и довольствуется малым.

— Причем он рискует проснуться завтра голодным.

— Не заботься о завтра, а чего нельзя избежать — переноси! Что касается, например, меня, я счастлив в своей Устине. Живешь себе близ природы, не ведая волнений жизни... Ах, Меценат, я всю жизнь буду тебе благодарен за твой подарок.

— В жизни есть высшие цели,— заговорил Варий.— Мало одного спокойствия. Человек создан к большому. Есть польза отечеству; есть слава.

— Варий прав,— согласился Макр.— Подумай, Гораций, как были бы жалки люди, если бы они ограничили свою жизнь такими ничтожными стремлениями, как тишина и отсутствие забот.

— Да, здесь есть доля правды,— принужден был подтвердить и Гораций.— Конечно, есть и другие истинные наслаждения. Я не нашел бы их ни в удачной охоте, ни в победах на ристалище, ни в почестях, которые раздает народ. Лично я понимаю еще только наслаждение поэзией. Его, как мне кажется, не заменит ничто. Кто раз отдался этим музам, тот их навек!

— О, поэзия! — воскликнул Меценат, который давно искал случая вставить слово. — Поэзия — это отблеск божественного нектара на земле, поэзия — это нечто поднимающее человека до богов, превращающее его... делающее его...

— Участником олимпийских пиршеств, — подсказал Проперций.

— Участником олимпийских пиршеств, — закончил Меценат.

— Поэзия — это высшее из искусств, — точно определил Тукка.

— Поэзия — это жизнь, — сказал Гораций.

Овидий не согласился.

— Нет, она не жизнь! Это — только сон, чарующий и прекрасный, но не голос истины. Поэзия — это эолова арфа, которая усыпляет человека, а не будит его.

— Никогда! — горячо вступился Гораций. — Поэзия не забава. Она — достояние людей, одаренных талантом и с душой, вдохновляемой высоким. Поэзия должна стоять на высоте политических и нравственных вопросов, а не служить одному усыплению.

— Где ты найдешь такую поэзию? — спросил Овидий.

— ...Чтобы она не была при этом риторическим сводом нравственных правил, — окончил его фразу Сабин.

Гораций не обратил внимания на это замечание.

— Где? — Всюду, везде у великих поэтов, у наших вечных учителей — греков!

— Ну, ее никто слушать и не хочет, — бросил Сабин.

— Может быть! Но это показывает только наше падение.

— Старики предпочитают вздорную александрийщину, а юноши пустого Катулла, — заметил Тукка.

Овидий хотел возразить, но Гораций уже продолжал:

— Где мы видим особенное падение, это — в нашем отношении к театру. Теперь любят одни мимы, а в трагедии смотрят только белых слонов, жирафов да разные удивительные процессии.

— Верно! — заговорил Варий. — Хороших трагедий не понимают. Нужны ужасы. Нужны машины. Поневоле угрожаешь зрителям. Впрочем, и тогда они предпочитают пустые трагедии.

— Да, да, — с преувеличенным сожалением подтвердил Сабин, — вот и твои трагедии смотрят мало.

— Не о моих трагедиях говорю! Впрочем, конечно. Я — старик; я могу говорить. Конечно, я создал римскую трагедию. Мало того. Смело могу сказать, что пока я единственный...

— ...Трагик у римлян, — иронически подхватил Сабин.

Овидий готов был вспыхнуть, но Гораций смягчил слова своего друга.

— Исключение, конечно, «Медея» нашего нового друга. В этой трагедии он сделал возможным невозможное: сравнялся с твоим «Фиестом».

Меценат, видя, что разговор начал принимать слишком личный характер, поспешил на помощь.

— Не прочитает ли нам Овидий что-либо из своей новой поэмы? В Риме ходят об ней столь восторженные рассказы.

— Да, ты должен сделать это, так как сам заинтересовал нас, — поддерживал Тукка. — Помнишь?

Может быть, я искусство любви поведаю после.

— О, это — чудная поэма, — воскликнул как бы про себя Проперций.

— Не отказывайся, Овидий, — дружески настаивал и Макр.

Овидий не заставил себя просить долго. В противоположность Горацию он любил декламировать свои стихи.

Рабы принесли новый запас фалернского; все наполнили чаши, а Овидий привстал со своего места. Выбрал он для декламации начало поэмы «Искусство любви», которую писал в то время.

Читал Овидий прекрасно; изящные двустихия сразу овладели вниманием слушателей.

Если кто еще не знает искусства любви, то пусть выслушает эту поэму и любит уже со знанием. В самом деле, кто вздумает лететь в колеснице на олимпийских играх, не умея управлять конями? кто пустится в открытое море на челне, не зная, как взяться за весла? Между тем, сколько людей отдаются любви, не ведая ее законов!

После этого вступления следовали самые правила нового искусства. Разбирался вопрос, где лучше завязать знакомство. Конечно, там, где бывает стечение народа: в храмах, в театрах, на играх. Особенно удобно это в цирке, потому что там женщины сидят вместе с мужчинами. Все заняты ареною; никто на тебя не обратит внимания, а, между тем, множество народа заставляет тесниться.

К женщине ближе садись (помехи в этом не будет!)

Можешь к ней в тесноте даже прижаться совсем.

Если пылью обдаст, поспеши на помощь к соседке; —

Есть ли, нет ли песку, все же ее отряхни.

Декламируя, Овидий увлекся. Он не замечал, как восхищение слушателей переходило в удивление, а удивление в негодование. (Они слишком привыкли к новой строгости Августа в вопросах нравственности, да и Овидий был такой поэт, что заслужил от современников прозвание *adulter**.)

Опьяненный музыкой строф, Овидий уже уклонился от темы и отдался импровизации, которая ему всегда так хорошо удавалась. Легкие пентаметры опережали тяжелый гекзаметр; стих низался на стих, и всё свободной волной катилось вперед. Звучали истины и парадоксы, сменялись лица, мелькали картины и сцены так быстро, что мысль отказывалась следовать за этим безумным полетом фантазии. Наконец, сам Овидий в изнеможении бросился на ложе и схватил чашу с вином.

Проперций все время посматривал на улыбающегося Макра и на рассерженного Мецената и не знал, что ему делать. На всякий случай он сложил губы в насмешливую улыбку, а, едва Овидий кончил, поднял руки для аплодисментов, но, остановленный строгим взглядом Вария, мог только произнести:

— Конечно, это прекрасные стихи, но...

— Но за такие стихи сослать бы вас в Британию, — прямо сказал Тукка.

— Это почему же? — спросил Овидий, улыбаясь и подымая чашу.

— Клянусь Юпитером, это слишком, — проговорил, наконец, Меценат. — Вот — они, молодые поэты! Вот кто развращает Рим, низвергает его с высоты добродетелей, а не империя, как смеют говорить!

— Это уже и не поэзия, — сказал Варий.

— Да почему же?

Будем, Лесбия, жить и любить!

— Да разве это значит любить? — начал было Тукка, но Варий перебил его:

— В жизни есть высшие цели. Это вот вы, молодые поэты, не видите ничего иного. Вам все нужны разные Коринны да Лесбии! Вот что вы воспеваете.

* сладострастный (лат.).

— Ты слишком увлекаешься, — старался смягчить эти слова Гораций. — Что в жизни выше любви? За один волос своей милой я отдам все богатства земли!

— Эти поэты развращают юношество, — твердил Меценат.

— Но всему есть своя мера, — продолжал Гораций. — Веселись, отгоняй все заботы, но, как мудрец, умеренно и здраво.

— О, вы, здравомыслящие люди! — вскричал Овидий, на которого уже начинало действовать вино, — ползите свою жизнь черепахой, а я хочу сжечь ее молнией!

— Выбирайте достойный предмет для своих произведений, — горячился издали Тукка.

— Разве их мало? — поддерживал его Варий. — Великие предки, победы, боги.

— Не чувствую в себе сил состязаться с вашим творцом «Энеиды»!

— Нет, Овидий, ты не прав, — все примирял Гораций. — Я сам не стал бы писать героической поэмы. Предоставим это более сильным — Варию, Вергилию, но не будем умалять их заслуги.

Между тем, разговор уже разделился на две половины. Сабин усердно спорил с Варием и Туккою.

— Пиши, что есть, — твердил Сабин.

— Поэт есть прорицатель, — волновался Варий. — Он должен быть выше людей. Он должен обладать возвышенной душой.

— И главное чистой душой, — вмешался в этот спор Гораций. — Я старше вас, друзья мои, так поверьте мне в науке жизни. Человек с чистою душою чувствует себя всегда счастливым и везде безопасным...

— Как же! мы это уж слышали, — прервал Сабин. —

Пел Лалагу я и, в лесу Сабинском
Далеко бродя беззаботно, встретил
Волка, но меня (безоружен был я)
Он не коснулся.

Любопытно было бы посмотреть такого волка, да, кроме того, мы помним другие твои стихотворения...

Овидий опять остановил его взглядом.

— Не забывайте стихов нашего учителя Катутла:

Настоящий поэт быть должен чистым,
Но твореньям его того не нужно.

— Кто не знает, что ваш учитель был еще хуже вас, — проворчал Тукка.

— Я удивляюсь, как великий Август терпит все эти произведения, — угрожал Меценат.

— Зато наши произведения читают, а иные свитки лежат нетронутыми в библиотеках, — уже прямо грубо произнес Сабин.

— Да, вы успели развратить весь Рим, но погодите — дождетесь и вы возмездия.

Овидий пытался овладеть собой.

— Гораций сказал, что поэзия есть жизнь. Вот эту жизнь мы и даем вам.

— Подонки жизни, — сказал Варий.

— После того, что сделали наши великие друзья — Варий, Вергилий и Гораций, — разъяснял Тукка, — нельзя писать старые александрийские шуточки.

— Никто их заслуг не отымает, но они уже сделали свое дело.

— А мы идем вперед, — разгорячился Сабин, — вы же не умеете за нами следовать.

— Мы не хотим, — отрезал Варий. — Мы знаем свой путь. Мы идем, куда находим нужным.

Спорящие увлекались. Гораций видел необходимость дать им успокоиться.

— Друзья мои, каждый из вас прав по-своему. Позвольте мне, старику, сказать несколько примирительных слов. Я смело могу утверждать, что теперь я любимейший поэт среди римской молодежи.

— Утверждать можешь, но будет ли это правда, — пробормотал Сабин, но Гораций не обратил на него внимания.

— Зависть притупила о меня зубы. Поэтому, если я расскажу вам свою жизнь, я скажу многое о поэте вообще.

Друзья поспешили приветствовать это предложение, а Сабин сделал вид, что обрекает себя на жертву. Чаши наполнили хиосским, и Гораций начал свой рассказ, надеясь, что в продолжение его страсти улягутся.

— Писать я начал с горя, друзья мои. В то время я был в очень тяжелом положении. Я был одинок. Матери вообще я не помнил, а отец недавно умер... Ах, я не могу упомянуть о нем без того, чтобы лишний раз не выразить своего уважения. Это был истинно достойный человек, и для меня он не жалел ничего.

Сабин начал уныло рассматривать солонку.

— Тогда только что после разных скитаний я попал в Рим. Был я еще очень молод, а в прошлом уже было постыдное пятно. Ведь мне едва минуло 22 года, когда я вступил в ряды Брута. Поэтому доступ к должностям был мне почти закрыт. К тому же и знания мои были невелики. Учился я в детстве у некоего Орбилия...

— Это тот самый, что написал книгу о суетности и неблагоразумии родителей, — объяснял Макру на другом конце (стола) Тукка.

— ...У Орбилия. Но читали мы с ним более Ливия Андроника. Был я потом в Греции и, если что знаю из школьной мудрости, то обязан этим моим тамошним учителям — Осомнесту и Кратиппу. Но всего этого было слишком недостаточно, чтобы добиться какого-нибудь места бывшему заговорщику. Имена мои были конфискованы, и вот в конце концов пришлось мне поступить на грошовое жалование к какому-то квестору в писцы. Жилось скверно, да и в будущем не было ничего. Вот тут-то я и ухватился за поэзию.

Рассказ начал заинтересовывать слушателей.

— Я уже и прежде писал стихи, но греческие. Теперь я попробовал все разнообразие греческих размеров применить к родному языку, перенести, так сказать, эолийскую песнь в Италию. Друзья мои, если я могу чем-либо гордиться, то именно тем, что первый сблизил римскую поэзию с греческой.

Сабин сложил свои губы в улыбку сомнения.

— В то время я впервые понял, какое значение имеет для меня поэзия! В ней я находил все, чего был лишен тогда: надежды, дружбу, счастье. А скоро она принесла мне и действительно друзей. Мои стихи заметили. На бедного поэта обратили внимание... ты, Варий, и потом Virgilий... Увы! Со смертью его, мне кажется, я потерял полжизни.

Гораций отпил от чаши.

— Как сейчас помню ясный весенний день. Право, тогда дома Рима выглядели более белыми, а черная мостовая его сверкала чудно под лучами солнца. Я шел с Virgiliем к тебе, Меценат. С тех пор я нашел свой путь жизни. Моя муза шла всегда рядом, рука с рукой, и с ней мне не были страшны никакие неудачи. Но я никогда не играл поэзией. Каждый стих стоил мне глубоких дум и осторожной работы. Я твердо верую,



ГИМНАЗИЯ Л. И. ПОЛИВАНОВА. ГДЕ БРЮСОВ УЧИЛСЯ В 1890 — 1893 гг.

Москва, Пречистенка (ныне ул. Кропоткина, д. 32)

Фототипия, 1910-е годы

Музей истории и реконструкции Москвы

что гордая богиня требует себе достойной брони; ее статуе нужен пьедестал. И теперь, почти совершив свой жизненный круг, я скажу, что исполнил свое дело. На закате дней меня утешает надежда, что мое имя займет достойное место среди других римских поэтов.

— Да! наши имена не умрут, — подтвердил Варий.

Этого уже не мог перенести Сабин. То была капля, переполнившая сосуд.

— Конечно, долго еще будут изумляться на твои бессмысленные сцепления убийств, которые ты называешь трагедиями!

— Вы были бы великими поэтами, — воскликнул тогда и Овидий, — если бы можно было добиться талантливости терпением!

— Хорош талант болтать водянистыми стихами о любовных историях, — сказал Варий.

Овидий вспыхнул.

— Зато мои водянистые стихи льются так же свободно, как и разговор, а в ваших греко-римских фразах не разберешь даже в чем дело!

— Каковы стихи в «Медее»! Герои говорят, как простые люди!

— Верно, что у твоих героев такой язык, как люди не говорят!

— Друзья мои, — пытался успокоить всех Гораций, — вы забываете, что и возвышенный стиль, и легкость имеют каждый свою красоту.

— Поэзия не может жить в цепях, — заявил Сабин.

— Как в цепях? Почему в цепях? Что значит в цепях?

Тукка старался что-то разъяснить вдали, но его не слушали. Овидий волновался.

— Вы говорите, что поэзия жизнь, а сами заставляете ее служить господину.

— Меценат собирает к себе шутов и поэтов. Ему все равно, что интересный драгоценный камень, которые он так любит, что знаменитый поэт.

Долго молчавший старик Макр нашел, что пора вмешаться.

— Друзья, на вас действует вино.

— Не вино, а слова этих писак! Они говорят, что мои поэмы забавляют только чернь, и забывают, что их стихи нравятся лишь Меценату да Августу, которых они воспевают.

— Ты оскорбляешь Августа!— закричал Овидию Меценат.

— Уж, конечно, ты не скажешь ничего такого об нем. Ты предоставляешь ему все взамен его подарков: и свою совесть, и свою жену.

— Мальчишка, ты меня оскорбляешь!

— Друзья, мы в доме этого человека,— останавливал Макр, привставая с своего ложа.

— Да, может быть, я мальчишка, но восходящее солнце потом осветит весь мир, а тлеющая лучина только погаснет с копотью.

— Вот они, молодые поэты,— говорил Тукка.— Они напиваются на пирах и оскорбляют хозяина дома.

— Им делают честь. Их приглашают в общество, где я, где Гораций,— задыхался Варий.— Вот благодарность.

— Об себе-то ты молчал бы,— вышел из себя Овидий.— В твоих трагедиях нет даже смысла. Да и стихи Горация только работа трудолюбивой бездарности.

Макр встал с своего места.

— Нам пора проститься, Овидий.

— Оставь меня, Макр. Не они нам, а я сделал им честь посещением. Когда никто уже не вспомнит имен Вария и Горация, мои стихи еще будут звучать по всему миру! До меня у нас не было поэтов; были только подражатели грекам, и, боюсь, что со мной умрет единственный римский поэт. Скорее пожалеем этих людей, а не будем унижать их. Оставим их пресмыкаться у ног Мецената и писать поэмы ради подачек; наша поэзия не требует себе покровителей и наград; она свободна и вечна. Это — заря, что освещает весь Рим! Прощайте. Идем!

.....
Когда званных посетителей уже не было в комнате, откуда-то появился Проперций, исчезнувший во время бурной сцены.

— Они любят пьянствовать в кабаках за Субуррой,— сказал он.

— Лучшего от этих туенядцев я и не ожидал,— заметил Тукка.

— Нет! надо открыть глаза Августу,— продолжал волноваться Меценат.

— Увы, вот преемник. Овидий будет первым после нашей смерти,— сокрушался Варий.

— Если преемником будет такая бездарность, то погибнет и поэзия,— подхватил Проперций.

Гораций долго молчал и только потом задумчиво промолвил:

— Все же у него есть талант.

— О, без сомнения,— подтвердил Проперций.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Благовещенского ² я не достал, так что пользовался Модестовым ³, а у него нашел очень немного. За неимением матерьяла ухватился за первый попавшийся сюжет, но разработать его не успел, так как пишу все очень медленно.

Целью моей была характеристика участвующих лиц (во-первых, конечно, Горация), а вовсе не решение поднятых вопросов. При этом я старался рисовать не столько римлян, сколько вообще людей.

Почти все слова Горация и Овидия взяты из их произведений*. Цитаты могли бы облегчить меня, но я не смел их себе позволить, так как многие ссылки взяты из вторых рук.

В заключение несколько слов о стихотворных отрывках, которые попадают в сочинении. Переводя их, я старался приспособливаться к латинским метрам, но делал это больше ради опыта. Я не поклонник переводов размером подлинника. Каждый язык имеет свое собственное стихосложение, и размер, мягкий на одном языке, может оказаться грубым, если его перенести на другой. Вообще, на мой взгляд, перевод поэтического произведения (особенно это заметно в лирике) имеет целью вызвать то же впечатление, как и подлинник, а не ознакомить с ним, что невозможно.

П л а н с о ч и н е н и я

В начале вступление; в конце заключение.

1. Мнения о войне.
2. Мнения об Августе.
3. Мнения о счастии и о золотой середине.
4. Мнения о поэзии.
 - а) Определение поэзии.
 - б) Современное положение ее.
5. Взгляд на самого себя.

Кроме того, по сочинению разбросаны и мнения о других вещах (о любви, о политике etc).

<1893>

ГБЛ, ф. 386.4.16, л. 2—17. Беловой автограф в тетради ученика VIII класса. В подлиннике «Объяснение» дано перед текстом сочинения.

¹ Брюсов использовал в качестве эпиграфа те же строки из басни Крылова «Лебедь, Щука и Рак», которые были взяты Гончаровым для эпиграфа к его очерку «Литературный вечер» (1877).

² Н. М. Б л а г о в е щ е н с к и й. Гораций и его время. СПб., 1864; 2 изд., Варшава, 1878.

³ В. И. М о д е с т о в. Избранные оды Горация. СПб., 1893.

ГОЛУБОЧКИ — ЭТО НЕПОРОЧНОСТЬ

В окно виднелись уродливые московские крыши; вдали неясно рисовались главы собора; у самого стекла мелькали голуби.

— Ты что там делаешь, Анюточка? — позвал старик.

— Мне, дедушка, велели прошение переписать.

— Ну, успеешь, поди, посиди со мной.

Она села на ручку кресла, совсем прижавшись к деду и обняв его рукой.

— Вот этот вид в окно, он тоже символ, — говорил старик. — Это высоты жизни, им и приходится встречать непогоду, но рядом главы собора. А голубочки — это непорочность. Анюточка, брось им крошек.

Девочка отыскала кусок хлеба и стала крошить его в форточку. Приятная свежесть ранней весны проникла в душную комнату.

— В деревне теперь, — опять заговорил старик, — хорошо: пахнет весной, разгребают снег, все тает. Эх, вот не думал я, что старость придется тянуть в городе.

Анюта опять присела на ручку кресла.

* Из Горация я имел в виду главным образом те из его произведений, которые есть в издании Модестова, а из Овидия — «Tristia» и «Ars amandi» (примеч. автора).

— Дедушка! ведь и здесь все тает. Слышите, вода каплет из желобов. А вот посмотрите: вчера эта крыша была вся в снегу, а сегодня железо видно.

Старик покачал головой, он не хотел и слушать о городе.

— А помнишь, Анюточка, как у меня в «Новоселье» описана деревенская жизнь?

— Конечно, помню! А мы теперь одни, можно почитать.

Старик как-то беспокойно задвигался.

— Да что читать... ты ведь ничего не понимаешь ... нет, не надо.

— А вы мне объясните. Дедушка, милый, хороший! ну, пожалуйста. Я достану, да?

— Да нет... я решил.

Но Анюта уже спрыгнула с кресла, выдвинула из-за комода тяжелый чемодан и, раскрыв его, стала перебирать лежавшие там бумаги. Стоя на коленях, низко наклонив русую головку, несмотря на свои одиннадцать лет, она казалась совсем маленькой.

— Смотри... не перепутай там.

— Что вы, дедушка! Я стихи достану?

— Ну хоть стихи... Синяя тетрадь с разводами; сестра-покойница переписывала.

— Знаю, дедушка, знаю.

Анюта уже достала объемистую тетрадь в синей обертке. Отдав ее деду, она так поместилась на ручке кресла, чтоб читать через плечо. Дед нерешительно перелистывал страницы.

— Да ведь ты все уж знаешь.

— Нет, что вы! да мне и еще раз...

— Ну разве что-нибудь попроще.

Старик поднес тетрадь ближе к глазам. Эта рукопись была собранием его стихов, которые так никогда и не были напечатаны. Еще вчера он с горечью в сотый раз повторил самому себе обещание никогда не прикасаться к ней, а сегодня опять не устоял перед искушением...

Анюта слушала, притаив дыхание. Старик сначала читал свои шуточные произведения, эпиграммы, басни. Потом незаметно перешел к своим любимейшим стихам, к тем, которые он писал еще юношей, почти шестьдесят лет назад, в годы Пушкина, Баратынского, Дельвига, Крылова...

Читая, он увлекался; его голова с седыми прядями волос гордо закинулась назад; сухие руки часто подымались для угловатого, но смелого и выразительного движения. Анюта слушала, притаив дыхание, хотя все, что читал дед, уже знала наизусть.

Когда она что говорит,
Гляжу я, глаз с ней не спуская.
Когда задумчиво молчит,
Я думаю: ты дева рая!
Взор, полный нег, ее блеснит,
Как в небе звездочка ночная,
А звук из уст ее летит,
Как песня птички неба, рая...

— Дедушка! это вы написали к бабушке?

Этот робкий вопрос прервал чтение. Старик повернулся и взглянул на личико своей юной слушательницы. Он тихо улыбнулся.

— Нет, Анюточка, это не к ней.

Анюте было уже стыдно за свой вопрос, она не знала, как загладить его.

А. Я. БАКУЛИН, ДЕД БРЮСОВА
 Фотография Д. А. Александрова,
 1880-е годы
 Мемориальный кабинет Брюсова,
 Москва



— Ведь вы же любили бабушку?
 Вместо ответа старик перевернул несколько листов.

Я помню ту... люблю и эту.
 Но той уж нет...

— Не будем, Анюточка, говорить о старом... Да!.. той уж нет... Но и этой нет... Ничего не осталось. Вот так и сижу я никому не нужный, сыновья кормят да попрекают. Без толку жизнь прожил. Говорила мне она частенько: чем бы бумагу изводить, ты в хозяйство заглянул бы; а то срам, не знаешь, твое это поле или чужое. А ведь кроткая была. Ах, боже мой господи! что за душа у нее была. Светлая, как свеча теплилась. Помилуй, господи, рабу твою... При ней все словно жизнь была, а теперь...

Дед говорил это, совсем забыв о своей слушательнице. Минуту подумав, он начал тихо, наизусть.

Я слышу благовест... Народ идет молиться,
 А я лишь думаю, зачем еще живу!
 За живо погребен, я не могу стремиться
 К тому, что грезилось когда-то наяву.
 Душа отягчена тяжелыми цепями —
 Нуждой, безволием житейской суеты,
 Как незаметно я терял год за годами
 И силы лучшие, и светлые мечты.
 Простился я давно с надеждами живыми,
 Теперь прощаюсь с заветнейшей из дум.
 Я расстаюсь теперь с твореньями своими
 И усыпить хочу свой беспокойный ум.

Тетрадь выпала из рук старика и бессильно раскрылась на полу; его голова опустилась на грудь, и челюсть как-то жалко повисла; глаза были бессмысленны. То был одряхлевший, разбитый старик.

Анюта охватила его руками, на ее глазах были слезы, она покрывала лицо деда поцелуями.

— Дедушка! милый! что вы! ну что ж, что вас забыли. Это ничего. Вы мне рассказывали вот про Кальдерона. Вас еще вспомнят. Вы пишете такие хорошие стихи.

Дед медленно улыбнулся, приходя в себя.

— Полно, Анюточка, разве мне это горько? Стихи все равно не умрут, хотя бы их и никто никогда не прочитал. Что написано, то навеки живо. Да и разве это такие хорошие стихи?

Он оживлялся, говоря.

— Вот у Пушкина, у Державина — вот это стихи. У Державина в кантате «Христос»:

О Сый! которого пером,
Ни бранным зрением, ни слухом,
Ниже витийства языком
Не можно описать, а духом
И верой пламенной молить...

Или это:

Кто Ты? — и как изобразить
Твое величье и ничтожность,
Нетленье с тленьем согласить,
Слить с невозможностью возможность?

А! какие стихи! Мицкевич говорил, что «Христос» лучшее, что написано на славянских языках...

Стук с силой распахнувшейся двери прервал старика. Послышались голоса и шум снимаемых калош. Анюта одним прыжком вернулась к столу, где она списывала прошение. Старик остался в кресле один, кивая головой и про себя договаривая стихи кантаты.

Две женщины вошли в комнату. Обе уже не молодые, лет за тридцать, с сухим и угрюмым выражением лица. То были две тетки Анюты, Леночка и Юлечка.

— Ну радуйтесь, папаша, — заговорила Юлечка злобным голосом, — ничего не удастся. Смотрецкий говорит, что мы пропустили срок и теперь уже нельзя подавать в Сенат.

— И все вы, — вмешалась Леночка. — Мы вам говорили, надо спешить, а вы то да то, посоветоваться надо, поговорить...

— Ну вот теперь все и провалилось, и нет ничего, — дополнила Юлечка. Старик беспомощно смотрел на них.

— Да может быть, оно еще и не так, — слабо возразил он.

— Да не так! — взвизгнула Юлечка. — Как бы не так! совсем так! Вот это вы всегда. Да может быть, да не может быть. А дело верное. Нам должны были выдать двенадцать тысяч. А теперь...

— Да ведь там завещание было, — вымолвил старик.

— Завещание! Что вы нам колете глаза завещанием, — затараторила Леночка. — Не умели своих дел устроить, оставили дочерей ни с чем! Помните, сын Политковского ко мне сватался, а узнав, что у вас ничего нет, он и не мог.

Старик безмолвно опустил голову.

— А ты что здесь делала? — накинулась Юлечка на Анюту. — Как! не готово! да ведь мы два часа ходили! Видно, болты била, слонов продавала.

Тут она заметила на полу тетрадь, и ее голос сразу перешел в крик.

— А вот что! Это все ваше дело! Вы ее развращаете. Загубили век маменьки! а потом наш! а теперь вот ее погубить хотите. Тут ваше бумагомаранье не нужно. Тут работать надо.

Старик возвысил голос.

— Юлия, я, кажется, отец тебе.

— А ну что ж, что отец, — вставила Леночка. — Разве вы о нас заботились? Замуж выдать нас не сумели. Без куска хлеба оставляете, кабы не братья...

Юлия тем временем схватила с полу тетрадь за отдельный листок и швырнула ее в угол. Анюта спрыгнула со стула, чтобы убрать ее.

— Что? Куда? Так-то ты работаешь.

— Да я уже кончила, тетя, — мне всего две строчки оставалось.

— Кончила? Ну, живо, собирайся. Отнеси это Николаю и скажи, чтобы он непременно сегодня же зашел к Орневу, слышишь?

Анюта юркнула в маленькую переднюю и поспешно натягивала свою шубку. Она так рада была ускользнуть от этого шума. Через минуту она была уже за дверью. Голоса теток, которые вступили было в спор между собой, стихли.

Анюта почти не помнила деревни. Она уже шесть лет как живет в Москве. Она полюбила Москву. В этих грязных улицах, в этих неровных домах чудилась ей странная красота. Этими мечтами она не смела поделиться с дедушкой.

Они жили на <Остоженке>, а ей надо было пройти через Кремль. На мосту через Александровский парк она остановилась. Она любила смотреть отсюда на Замоскворечье. Видны сначала спутанные ветви бульвара, потом река и дальше целая панорама домов и церквей, исчезающая в тумане. Анюта любовалась долго.

Потом она прошла через Боровицкие ворота со страшными, окованными железом воротами, прошла вдоль решетки Кремля, любуясь с нагорного берега другим, низким. Башенки Кремля, старые, с полинявшей краской еще казались легкими и воздушными; их итальянские верхушки придавали какое-то новое освещение всему кругу.

Вот наконец через Спасские ворота с их расписным потолком она вышла на Красную площадь. Обширное поле, обставленное зданиями в старорусском стиле, с одной стороны кремлевская стена, напротив здание новых рядов с пузатенькими колонками; налево Исторический музей, а направо стародревний храм Василия Блаженного. И в этой старинной, древней обстановке, в этом мире старой Москвы — тянулся длинный ряд электрических фонарей. Как большие бабочки, качающиеся высоко над землей, они медленно вспыхивали месячным светом.

В этом сочетании старины и новизны было какое-то несказанное обаяние. Анюточка чувствовала, что вся горечь, переполнявшая ее детское сердце, куда-то уходила; даже образ дедушки бледнел и отступал; в душе было — мир и успокоение...

.....

Бедный дедушка! Когда ты умрешь, твои дочери и сыновья разбросают дорогие тебе бумаги с твоими стихами; иные будут уничтожены, иные сохранит <Анюточка> и будет, может быть, хранить долгие годы; потом и они там затеряются, там пропадут, рассеются все... Исполнятся ли твои чаянья, и правда ли, что стихи все равно не умрут, хотя бы никто никогда и <не> прочитал их?

20 сент<ября 18>9;
(первые наброски в феврале 97)

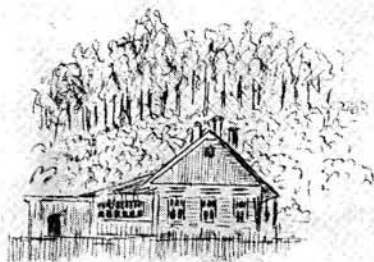
РАССКАЗЫ МАШИ, С РЕКИ МОЛОГИ, ПОД ГОРОДОМ УСТЮЖНА

Ой, барышня, как в Ярославле хорошо, только одних жуликов и боишься, а у нас в деревне как худо: и дворовые, и домовые, и баечники, перебаечники. На дворе дворовой живет, а домовой в доме; дворовой с лица, как хозяин, а домовой шерстнатый. Дворового все видеть могут, кто после девяти на двор к лошадям выйдет. Так нельзя выходить, надо кашлять. А то вот отец раз вышел на двор и увидал, стоит дворовой и сено лошади подкладает. (Он лошадь нашу очень любит, все ей косу заплетает; косу длинную заплетет. А корову не взлюбил, языком ее всю против шерсти вылизал.) Домового реже видать можно, и в своем виде он редко показывается. А вот на печке спать одной страшно: придет ночью шерстнатый, давить будет. А баечника худо увидеть, он сердитый, не любит, чтобы ему мешали. Старуха поздно вечером парилась, после всех; вдруг в дверь стучат. Она думала, это ее невестка, и говорит: «Входи, входи, я тут одна моюсь». А никто не входит, и в дверь все стучат. Он, значит, париться пришел, она ему мешает. Он уж под конец рассердился, стал дверь открывать и затворять: просунет голову и спрячет. Старуха увидала, что шерстнатый пришел, испугалась до смерти, кричит ему: «Батюшка, батюшка, погоди, я сейчас». Сбежала с полка и без памяти, как была, рубашки не надела, побежала на деревню, дорогой на сук наткнулась, глаз себе выколола, теперь кривая ходит. Вы, барышня, сами поезжайте, увидите: теперь кривая ходит. Спать в бане совсем худо. Если кто с крестом, того, конечно, баечник задавить не может, так только походит, потолкает, потому что он тоже спать в бане пришел, а они ему мешают.

Леший очень худой, это уж самый худой. Раз девушки коней пасли, ночью. И вздумали ночью слушать пойти. Кресты сняли и пошли за лес на опушку и стали всех нехороших призывать. Услыхали гул, все ближе, ближе. Им бы сказать: «Чур, пока полно», а они все не говорят, все больше, больше призывают. Потом видят, идет на них копна сена и в середине как кочерга, и вся огнем горит. Горит не прямо, а все кружится, вьется. Они закричали: «Каравул, каравул!», побежали на деревню, прибежали на беседу, кричат, что за ними копна горящая гонится. А на беседе старуха-колдунья была. Она им говорит: «Плохо ваше дело, девицы, он непременно сюда придет, вы наденьте на головы горшки и сидьте. Он как вас ударит по горшку, вы и валитесь». Пришел нехороший в избу, стал по избе кружить. Нашел девушек, ударит по горшку, они и валятся, он и думает, что им голову разбил. Тем только и избавились.

А русалка у нас, барышня, каждую ночь на кладбище на камне сидит. Вот сторож церковный, когда ходит к утрене звонить, каждый раз ее видит. Волосы длинные-длинные и расчесывает большим гребнем. А еще у нас в реке камень есть, мы раньше туда купаться ходили, не знали, что там русалка сидеть любит. А вот наши мужики шли раз тихо, она их и не заметила. Подошли, а она сидит на камне и волосы расчесывает. Увидала их, глаза у нее большие, черные, — испуганная, и сразу нырнула в воду.

Ой, барышня, а как у нас в деревне нехорошо делают. На святках (святки у нас длинные, у нас в деревне, у деревенских, от Николы до Рождества, а в городе, у городских, от Рождества до Крещения) слушать ходят. Вечером пойдут девицы на беседу. Потом которая-нибудь скажет: «Пойдемте слушать». Сейчас они кресты снимут, на гвоздь повесят. Такие там, в избах, где беседы, <гвозди> вбиты по стенам. Сядут, кто на кочергу, кто на ухват, кто на сковородник, и поедут на перекресток. Там сделают дорожку: три полосы по снегу проведут. Встанут и начнут всех нехороших призывать: «Черти, дьяволы, лешие, водяные, русалки, домовые, баечники, перебаечники — приходите и покажитесь нам». Тогда услышат звон ко-



*Вид из моего окна
30 мая 1916 (Бурково)*

«ВИД ИЗ МОЕГО ОКНА». БУРКОВО, 30 МАЯ 1916 г.

Рисунок Брюсова. Перо

Мемориальный кабинет Брюсова, Москва

колокольчика. Когда уж он близко будет, надо кричать: «Чур, пока полно». Рано нельзя кричать — ничего и не будет. А если поздно крикнуть — проедут и задавят. Если же вовремя скажут, проедут мимо, скоро-скоро, на хороших конях, нарядные кавалеры; все в белых высоких-высоких острых шапках, и с шапки на лицо и сзади длинные желтые кисти висят. Старые с длинными бородами, молодые без бороды. Проедут и прозвонят колокольчиком каждой девице, сколько ей лет замуж не выходить.

А еще слушать ходят к бане, на колокольню руки протягивают, кто за руку схватит — суженый ли, нет ли. Худо, если шерстнатый за руку схватит.

А как у нас в деревне худо: колдунов сколько! Они, колдуны, молитвы говорят и берут на себя *их*, кто сколько, много берут. Если сорок кто возьмет, то это у них ни за что считается, а берут несколько сот, несколько тысяч. И уж *они* колдунам покою не дают ни днем, ни ночью, все нужно, чтобы колдун с ними говорил. У нас, когда колдун приходит, его пивом угощают, боятся, чтобы он порчи не напустил. Раз колдун у нас почевал, так я сама слышала, как он с ними говорил. Тятя ему говорит: «Да спи ты, дядя Михайло!» Он говорит: «Я сплю, я сплю». А потом: «Срубите елок, срубите елок». А они говорят часто-часто и плохо-непонятно, густым го-досом и много раз одно и то же слово повторяют: «Сколько елок, сколько елок, сколько елок?» — «Десять елок, десять елок». Они скоро-скоро назад придут и опять спрашивают: «Мы срубили, мы срубили. Что нам делать? что нам делать? что нам делать?» — «Кирпичи делать». — «Сколько тысяч? сколько тысяч?» Он скажет, сколько тысяч. Они опять скоро вернутся: «Мы сделали, мы сделали». — «Хорошо ли сделали?» — «Хорошо сделали. Что нам делать? что нам делать?» Он и в церковь войдет, только успеет сказать: «Господи Иисусе Христе, пресвятая Богородица», а они опять его спрашивают, не дают в церкви стоять. А

перед смертью их надо кому-нибудь отдать, а то они помереть не дадут, как ни мучайся.

Одной старухе некому было отдать, а уж очень тяжело было — помереть хотелось. Был тут только мальчик десяти лет. Она говорит ему: «Сними с меня». Он и согласился. Она велела ему крест снять и молитвы сказать. Она и отдала ему сорок. Они и стали его все спрашивать. Мать его забранила нехорошими словами. Его и унесли. Гадалка сказала, что она поймать не может. Поймать может только крестная мать и то в диком виде. Крестная мать пошла в поле жать и увидала, что он по полю зайчиком прыгает. Она за ним погналась и поймала и свой крест на него надела. Тогда они его и отпустили.

А если колдун или колдунья венчаться будет, должен хоть на время их кому-нибудь сдать, клятву дать, что назад возьмет, а то не дадут в церкви слов сказать, каких надо.

Гадалки это совсем другие, чем колдуны. Им не надо нисколько на себя брать и никаких молитв говорить. Им нужно перед гаданьем только гадá * съест, поймать гадá черного, сварить, кусочек и съест.

У одной девицы был жених, и она очень его любила. А он помер. Она о нем так плакала, что ее собственная мать хотела ее топором зарубить. Его положили в церкви. За полторы версты от деревни церковь была. А девица вечером надела тулуп церковного сторожа, пошла к дьякону, ее там не узнали, спросила ключ от церкви. Пошла в церковь и принесла мертвого оттуда на беседу, принесла и в угол посадила, и стала перед ним плясать. А он, конечно, сидит мертвый, ничего не понимает, голову закинул. А она плясала и говорит: «Теперь ты пляши». Тут уж, верно, враг в него вошел, он встал и стал плясать. Потом опять сел в угол, как мертвый. Она опять стала плясать. Потом он опять плясал. Потом говорит: «Теперь неси меня назад». А она уж испугалась, говорит: «Иди сам». Он говорит: «Я не просил, чтобы ты меня приносила, ты сама за мной пришла, теперь неси назад, откуда принесла». А парни на беседе сидят в углу и говорят: «Ну что ж, неси, снесешь, потом назад на беседу приходи». Она хотела его нести, а он тут ее задавил.

Задумали девицы беседу устроить в усадьбе, в четырех верстах от деревни. Ходили они уж целую неделю на беседу, а кавалеры к ним не ходили. Им скучно одним было. Вот собрались они раз на беседу идти. А у одной девицы сестра маленькая, пять лет, просится: «Вáрюшка, возьми меня с собой на беседу». Она говорит: «Куда я тебя с собой возьму». А мать говорит: «Ничего, возьми». Она взяла привела ее и посадила на печку. И стали девицы плясать. Вдруг отворяется дверь — к ним кавалеры пришли. Эти кавалеры были *нехорошие*, а они не узнали. Говорят: «Что вы к нам давно не приходили, как с вами веселее будет». Стали они с ними плясать. Девицы-то не видят, они им не показываются, а девочка видит: они как отвернутся, у них изо рта огонь. Девочка испугалась, зовет сестру: «Вáрюшка, я домой хочу». Она говорит: «Подожди, сейчас пойдем». Она говорит: «Нет, Вáрюшка, я сейчас хочу, я спать хочу». Она говорит: «Да подожди, сейчас пойдем, спать будешь». Она говорит: «Вáрюшка, да подойди сюда». Сестра подошла, она ей тихонько говорит: «Вáрюшка, я боюсь: у ваших кавалеров изо рта огонь». Девочка испугалась, говорит: «Я домой пойду». Ей говорят: «Да погоди, куда ты». Она говорит: «Нет, я только девочку домой снесу и назад вернусь». Она схватила девочку и всю дорогу домой бегом бежала. Прибежала, залезла на печку и говорит: «Мамушка, я на беседу больше не пойду: у наших кавалеров изо рта огонь». Наутро пошли на усадьбу, а все девицы, кто задавленная лежит, а кто к потолку повешенная.

* змею (примеч. автора).

У нас в деревне худо, все браниться любят, а браниться очень худо. Скажут кому: «Ну тебя к лешему» или черта помянут, он тогда и унесет, пойдет ли кто на овин или на поле, человек ли, конь ли, корова ли. Нужно идти к колдуну, он скажет, через сколько дней его отдадут. Ходят, зовут, сколько дней ищут. Первый раз они ему дают голос подать и увидеть можно, а потом уж не видно, и голоса не слышать. Они его мучат, ездят на нем, за волосы таскают, в грязь кладут, в болото заводят и ничего не велят рассказывать, а то опять унесут. Колдун так и говорит: «Вы его ни о чем не спрашивайте, ему ничего сказать нельзя».

⟨1905⟩

ГБЛ, ф. 386. 35а. 20, л. 2—8. Автограф.

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА МАЛИНИНА

Предисловие редактора

Рукопись «Записок Малинина» отыскана мною среди различных бумаг первой половины прошлого века, которые предложено мне было разобрать летом 1904 г., в одной из старинных усадеб в Воронежской губернии. Имение, вместе с усадьбой и всей ее обстановкой, переходило не раз из рук в руки, и установить определенно, каким путем эта рукопись оказалась в домашнем архиве, оказалось невозможным. По наведенным справкам выяснилось, что автор «Записок» Александр Никанорович Малинин скончался в конце 50-х годов (кажется, в 1859) в своем родовом имении, тоже Воронежской губернии. Семьи у него не было, и все его имущество — надо полагать, в том числе и рукопись «Записок» — перешло к его родственникам по матери, К-им. К-ие, с которыми я снесся письменно, отказались от всяких литературных прав на это произведение, поставив только условием, чтобы их имя не было полностью названо в печати. После этого я счел себя вправе обнародовать эти «Записки».

Малинин не принадлежал к числу видных деятелей 14 декабря. Он был рядовым в числе декабристов. Но он сознательно разделял их убеждения и был довольно коротко знаком с вождями движения. В «Записках» его слишком много места отведено романтической интриге, заслоняющей факты общественной жизни, но это же придает рассказу непринужденность и красочность. Нового для истории декабристов «Записки» не дают почти ничего, но в них довольно ярко отразилась столичная жизнь начала прошлого века перед 14 декабря и довольно живо охарактеризованы некоторые значительные его участники. Можно смотреть на эти «Записки» скорее как на роман, чем как на исторический документ, но нельзя, кажется мне, отказать им в некотором значении.

Судя по разным указаниям в тексте, «Записки» написаны в конце 40-х или начале 50-х годов. Николай Павлович везде называется Государем. О Крымской войне автор записок ничего не знает. С другой стороны, он уже знает о смерти кн. Одоевского (1839 г.) и В. Кюхельбекера (1846 г.). Рукопись «Записок», дошедшая до нас, писана рукой самого Малинина. В общем она сохранилась в полной исправности, и почерк автора, кроме двух-трех незначительных мест, не представляет никаких затруднений. Мы не позволили себе ничего изменять или сокращать в тексте «Записок», вынеся все свои объяснения в примечания. Изменено только старинное правописание на общепринятое.

В. Б.

Предисловие автора *

Когда ныне, в зимнем бездействии деревенском, озираю я прошлую мою жизнь, сдается мне, что все силы, дарованные мне Природой, были изжиты мною в несколько месяцев, предшествовавших катастрофе 1825 года. До того времени я еще не знал жизни и лишь готовился к ней, но страшные потрясения этих ста с небольшим дней обратили юношу в старца, молодость — в дряхлость, и все последующие годы были лишь медленным умиранием тела после смерти души. Никто не может повторить с большим правом, как я, прекрасные стихи Е. А. Баратынского:

Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа! ¹

И в ожидании желанной, хотя и преждевременной кончины, я не нахожу себе более достойного дела, как возобновить в воспоминаниях и запечатлеть в записках сей эпизод моей жизни, когда страсти во мне кипели с неистовством, когда и мне суждено было стать участником, пусть малозначительным, событий исторических и сблизиться с людьми, коих чтить не перестану я до последнего дыхания. Одинокий на земле, не имею я детей, дабы завещать им свою исписанную тетрадь. Но верую, что прекрасная мечта благородных умов, за которыми сам тщился последовать, станет некогда для родной страны действительностью, и с русского слова снято будет позорное ярмо цензурского прещения. Тогда мой рассказ, быть может, станет общим достоянием, и благосклонный читатель, пробежав снисходительно страницы, где, невольно увлекаясь, я слишком много говорю о себе самом, остановится не без благодарности на тех местах, где я пытаюсь со всем чистосердечием и со всей точностью воспроизвести образы несчастных страдальцев за возвышенные свои идеалы, завещанные ими всем истинным русским, и верно описать самое событие 14 декабря, горестное и безнадежное, но не прошедшее без следа, ибо память его поныне призывает стремиться к светлым целям, еще не достигнутым нашей родиной.

А. М а л и н и н

ЗАПИСКИ

Глава I. Детство. Годы учения. Заграничное путешествие

О детстве своем и годах учения скажу кратко. Родился я в нашем родовом имении Двоекурове Воронежской губернии, в 1802 году. Отец мой служил во флоте и дослужился токмо до чина лейтенанта, хотя самостоятельно водил транспорты в Америку, в Ситху, и, не поладив с местным начальством, вышел в отставку. После этого он уже не служил, поселился безвыездно в деревне, но сельским хозяйством занимался мало, более всего предаваясь чтению. К книгам у него была истинная страсть, и он проводил целые дни в своем кабинете, заваленном книгами. Ежемесячно нам пересылали почтой от московских книгопродавцев целые тюки новых изданий. К сожалению, вся эта великолепная библиотека сгорела во время бывшего у нас пожара 1820 года.

Я был в семье единственным ребенком, и потому неудивительно, что я рос мальчиком диким и необщительным. У нас в доме, не в пример прочим, не велось, чтобы я играл с детьми дворовых. Общество их почитали для меня неприличным, и я обречен был на горькое одиночество без сверстников. С детства привык я предаваться упорным мечтам моим. Я строил из древесной коры фрегаты, спускал их в пруд в нашем саду и устраивал

* В рукописи над текстом помета автора: смягчить слог.

мне позволено было читать безо всякого разбора. Но любимым моим чтением были Плутарх и «Российский Феатр»², где особенно увлекали меня трагедии Сумарокова.

Матушку я помню мало, ибо она постоянно занята была хлопотами по хозяйству и по всему имению, оставленному всецело на ее попечение. Она скончалась, когда мне было едва десять лет, в черный год Наполеонова нашествия, получив известие о пожаре Москвы, где оставались ее близкие. По смерти матушки перешел я на попечение к тете Маше, ее двоюродной сестре, векоушке, издавна жившей в нашем доме, но до кончины матушки не игравшей в нем никакой роли, а после забравшей все хозяйство в руки. По отношению ко мне тетя Маша держалась тех же правил, что и матушка. Мне запрещалось сближаться с дворовыми ребятишками и считалось приличным, чтобы я или чинно гулял по парку или сидел за книгами. Затем ко мне взяли гувернера, одного из тех пленных французов, которые воспитали все наше поколение. От него узнал я о славной французской революции и великом Императоре, о Вольтере и Руссо, о жизни в Европе и о парижских театрах.

Знакомство с этим миром дало иное направление моим мыслям. Я перестал мечтать о морской карьере и стал воображать себя преобразователем Российской империи. Я мечтал о возможности у нас такой же революции, как во Франции, воображал себя демагогом, руководителем народных масс и главой временного правительства. Каждый вечер, ложась в постель, я подхватывал те сцены, на которых прервал мои мечты накануне сон, и развивал их далее. Я целыми часами, притворяясь спящим, развивал перед собой сцены мятежа, сочинял речи, которые я буду говорить, вел разговоры с другими вождями движения и сочинял во всех подробностях новые законы, основанные на началах свободы и равенства для всех. Замечательно, что, предаваясь в мечтах этим благородным мыслям, я не делал попыток в жизни приблизиться к своим идеалам; по-прежнему сторонился мужиков, считал позволительным не только кричать на дворовых, когда они недостаточно быстро исполняли мою барскую волю, но — сознаюсь в том со стыдом — и поднимал на них руку.

Мне было 14 лет, когда отец решил определить меня в морской корпус. С этой целью он лично отвез меня в Петербург, после того как около 10 лет не выезжал из своей губернии. Я был принят по своим познаниям во 2-ой класс, где были ученики и много моложе меня. Дичок, робкий и неловкий, я попал в круг сорванцов-мальчишек, большей частью из столичных семей. Сознаюсь, что мне пришлось круто. Товарищи презирали меня, смеялись надо мной, били меня. Я не умел ни ловко отпарировать их насмешки, ни отвечать кулаками. В течение 2—3 лет я был невольным шутком всего класса. Можно представить, каково было мне выносить эти первые уроки жизни после мечтаний о блистательном поприще и всемирной славе! Но, конечно, унижения, коим я подвергался, нисколько не уменьшили моей гордости. Чем большим унижениям подвергался я за день, тем более упоительные картины грядущего моего торжества рисовало мне воображение в часы перед сном.

Понемногу, однако, я свыкся с обстановкой. Нашлись у меня и товарищи, немногочисленные, правда, которых сроднила со мной любовь к литературе. Они ознакомили меня с новой русской поэзией, которой я не знал до сих пор совсем, с Жуковским, Батюшковым и, наконец, с Пушкиным. Увлеченный ими, я сам начал сочинять стихи, и с того времени мечты мои переменились. Я стал мечтать о славе великого поэта, подобно Вольтеру или лорду Байрону. Вместе с товарищами издавал я в корпусе рукописный журнал, под названием «Астрейя», и тайком читал строго нам запрещенные «Сын Отечества»³ и «.....».

Курс своего корпуса кончил я в 1822 году, совершив при этом гарде-

марином два плавания на корвете «Слава» к берегам Швеции и в Пруссию. Съездив повидаться с отцом в Двоекурово, я остаток того года провел в Москве.

Я мечтал отказаться от морской службы и посвятить себя литературе. Между прочим, предлагал я свои стихи в разные тамошние журналы, но нигде не удалось устроить. В Петербурге отважно я явился к барону Дельвигу, готовившему выпуск «Северных цветов», и предложил ему довольно длинное «Послание к А. С. Пушкину». Барон Дельвиг встретил меня довольно приветливо, обласкал, но стихи печатать решительно отказался, заверив, что у них много материалов «первых» поэтов. Сознвая слова эти мне глубоко оскорбительными, тотчас же записался я на корабль «Сис<ой> Вел<икий>», шедший в Америку. Путешествие это благодаря разным авариям затянулось на две навигации. Только весной 1825 года возвратился я на Кронштадтский рейд. Взяв отпуск, я поехал опять в Двоекурово.

Отдельные события и некоторые истории, рассказать которые я задумал *на этом текст обрывается*

<1912>

ГБЛ, ф. 386, 34.21, л. 1—4. Черновой автограф.

Текст «Предисловия редактора» и «Предисловия автора» приведен в статье Н. С. Ашукина «В. Брюсов и П. И. Бартев» (в кн.: Н. А ш у к и н. Литературная мозаика. «Московское товарищество писателей», <1931>, стр. 188—191).

¹ Из стихотворения Баратынского «На что вы, дни!..» (1840), вошедшего в его сборник «Сумерки».

² «Российский феатр или полное собрание всех российских феатральных сочинений» — неперiodические сборники оригинальных и переводных пьес, издававшиеся в 1786—1794 гг. в Петербурге Академией наук; вышло 43 части.

³ «Сын Отечества» — исторический, политический и литературный журнал, издававшийся с 1812 г. до конца 1825 г., был наиболее передовым русским журналом, в нем участвовали члены декабристских организаций. После 1825 г. перешел в лагерь консервативной журналистики.

ВОССТАНИЕ МАШИН

Из летописей ***-го века

I

Дорогой друг!

Уступаю твоей настойчивости и приступаю к описанию чудовищных событий, пережитых мною и похоронивших мое счастье. Ты прав: кто своими глазами видел подробности страшной катастрофы, небывалой в летописях мира и остался после нее в здравом уме, обязан сохранить ее черты для историков будущего времени. Такие свидетельства современников будут драгоценным материалом для исследователей нашей эпохи и, быть может, помогут следующим поколениям уберечь себя от ужасов, выпавших на нашу долю. Поэтому, как ни тягостно мне вспоминать те дни, подобные кошмарному бреду, дни, отнявшие у меня всех, кого я любил, и превратившие меня самого в калеку, — я все же буду писать, беспристрастно изображая все, что сам наблюдал и об чем слышал от очевидцев.

Впрочем, если бы не твои убеждения и не соображения, что после трагической борьбы уцелело всего несколько человек, я никогда не принял бы на себя этой ответственной задачи, потому что во многом она мне не по силам. Я едва ли не менее всех других подготовлен к такому предприятию, так как могу рассказывать лишь о внешних явлениях: их смысл и причины недоступны моему пониманию. Все, что я могут обещать, это —

воспроизводить, насколько сумею живо и ярко, фантастические происшествия, известные теперь под названием «Восстание машин», и быть правдивым, насколько то возможно для человека, который терял грань между явью и сном и уже не сознавал, что реальность и что призрак. Дать правильное толкование фактам, объяснить их — дело других, более осведомленных и более образованных.

Ты знаешь, что я — рядовой человек своего века, простой обыватель, который честно выполнял свои обязанности на общественной службе и считал, что свое свободное время он вправе посвящать отдыху и удовольствиям. Возвращаясь к себе после трудовых часов, я был счастлив в кругу своей семьи, с женой, моей бедной Марией, с моими двумя детьми, твоим любимцем Андреем и его сестрой, малюткой Анной, и с их бабушкой, моей матерью, старушкой, которую все кругом называли «доброй Елизаветой». Чему я когда-то учился в школе, оставалось у меня в памяти, как что-то очень смутное, и позднее у меня не было ни времени, ни охоты освежать и пополнять свои довольно скудные познания. Пусть науками занимаются, — думал я, — люди, избравшие себе это поприще, а мы, очередные граждане, свершив свой долг, можем спокойно наслаждаться результатами их работ.

Подобно всем, кто живет в нашу эпоху, я пользовался всеми благами современных машин, но никогда не задумывался над вопросом, как и где они приводятся в движение или каково их устройство. Мне было достаточно, что машины обслуживают нужды мои и моих близких, а чем это достигается, мне было все равно. Мы нажимали определенные кнопки или поворачивали известные рукоятки и получали все, необходимое нам: огонь, тепло, холод, горячую воду, пар, свет и тому подобное. Мы говорили по телефону и слушали в мегафон утреннюю газету или, вечером, какую-нибудь оперу; переговариваясь с друзьями, мы приводили в действие домашний телекинематограф и радовались, видя лица тех, с кем говорим, или в тот же аппарат любовались иногда балетом; мы подымались в свою квартиру на автоматическом лифте, вызывая его звонком, и так же подымались на крышу, чтобы подышать чистым воздухом... Вне дома я уверенно вспрыгивал в автобус, в вагон метрополитена и империяла, или становился на площадку дирижабля; в экстренных случаях я пользовался мотоциклетами и аэропланами; в магазинах охотно передвигался по движущемуся тротуару, в ресторанах — автоматически получал заказанные порции, на службе — пользовался электрической пишущей машиной, электрическим счетчиком, электрическими комбинаторами и распределителями. Разумеется, нам случалось обращаться к помощи телеграфа, подвесных дорог, дальних телефонов и телескопов, бывать в электро-театрах и фоно-театрах, обращаться в автоматические лечебницы при незначительных заболеваниях и т. д. и т. д. Буквально на каждом шагу, чуть ли не каждую минуту мы обращались к содействию машин, но решительно не интересовались, чем оно обусловлено; только досадовали, когда получали извещение по административному телефону, что тот или другой аппарат временно не будет действовать.

Обращение с машинами, как все знают, просто до крайности. Даже мой маленький Андрей умел различать все кнопки и рукоятки и никогда не ошибался, если надо было прибавить тепла или света, вызвать газету или цирк, остановить лифт или предупредить проходящий мимо автобус. Мне кажется, что у современного человека выработался особый инстинкт в обращении с машинами. Как люди прошлых эпох, не отдавая себе в том отчета, соразмеряли, например, силу размаха, чтобы затворить дверь, мы соответственно нажимаем кнопку и заранее знаем, что дверь захлопнется без шума. Точно так же мы инстинктивно поворачиваем рычажки ровно настолько, чтобы пение оперы было слышно только в одной нашей комнате,

или переходим с движущегося тротуара на твердую землю, хотя непривычный человек непременно при этом упал бы. И нам кажется совершенно естественным, что такому-то слабому движению руки, такому-то чуть заметному наклону рукоятки соответствуют определенные следствия. Мы почти верим, что все это совершается «само собою», что это — в природе вещей, как прежде, поджигая спичкой костер, знали, что ползучат пламя.

Теперь поневоле я стал гораздо осведомленнее: обо многом пришлось подумать, обо многом расспросить и, наконец, многое я узнал из газет, которые вот уже два месяца не устают передавать всему миру подробности катастрофы. Теперь я знаю (впрочем, знал это и раньше, учил в школе, только основательно позабыл), что вся земля разделена на 84 «машинных района», из которых каждый имеет свою самостоятельную, не зависящую от других, станцию. Каждый такой район делится на «дистрикты»; в нашем их было 16, и в каждом дистрикте также устроена центральная станция, причем все они связаны между собой. Наконец, дистрикт подразделяется на «фемы», с «подстанциями» в каждом, получающими энергию с центральной станции. В нашем Октополе была расположена именно центральная станция дистрикта, обслуживавшая 146 фем. И если несчастье охватило сравнительно небольшое пространство, это объясняется исключительно тем, что большая часть коммуникаций с фемами была своевременно прервана. Поэтому восстание, начавшееся на центральной станции, потрясло только самый Октополь с окрестностями и около 30 окружающих фем, тогда как могло захватить все полтора ста.

Можно ли говорить о *плане* восстания, его «подготовленности», его «сознательности», — я не знаю. Как ни нелепа подобная мысль, но после всего пережитого мною, я более не знаю, что немислимо и что возможно. Машины во время восстания действовали с такой систематичностью, с такой дьявольской логикой, что я готов, несмотря на все насмешки огромного большинства и суровые выговоры со стороны ученых, старающихся образумить безумных «фантасов», — готов допустить, что восстание было, если не «обдуманно», то «подготовлено» заранее. Тогда план мятежников окажется совершенно ясен: они начинали восстание не на маленькой подстанции, где значение его оказалось бы сравнительно незначительным, но на центральной станции, чем надеялись привести в смятение целый дистрикт, а потом, может быть, по коммуникациям — и весь район, т. е. огромное пространство, равное одному из прежних государств. Было ли в замыслах мятежников в дальнейшем произвести революцию на всей земле, мне, разумеется, неизвестно.

Остается добавить, — к стыду моему, это я также узнал только теперь, после пережитого, из газет и лекций, — что некоторые ученые давно предсказывали возможность такого мятежа. Оказывается, уже много столетий назад был подмечен параллелизм в явлениях жизни, так называемых — органической и неорганической. Например, рост кристалла аналогичен росту растения и животного; полумы кристаллов заполняются «силами природы» аналогично тому, что происходит при поранениях «живого» тела; жемчуга подвержены болезням; минералы также; металлы имеют предел напряжения и выносливости; проволочные провода «устают», если их принуждают работать слишком много и отказываются повиноваться; некоторые элементы (или вещества, не знаю, как должно сказать) намагничиваются самопроизвольно; электрические токи при значительной конденсации (опять извиняюсь за, вероятно, неправильный термин) тоже начинают действовать самопроизвольно; все шоферы и пилоты наблюдали, что моторы «капризничают» без всякой внешней причины и т. д. и т. д. Впрочем, все это я знаю столь смутно, что не мне писать об этом: я и так, должно быть, в этих немногих строках много напутал. Повторяю: пусть толкова-

ние фактам дают более сведущие: мое дело — рассказывать, что я видел.

К рассказу я и перехожу теперь и даже постараюсь совсем устранить из него всякие объяснения. Оставляю в стороне «почему?» и «зачем?» и буду отвечать лишь на вопрос: «что?» Да и то мои ответы будут касаться лишь весьма небольшого круга событий: предел моих наблюдений был ограничен Октополем, так как за все время катастрофы я не покидал города. Я — маленький человек, пылинка в великом урагане, но ведь из миллиарда пылинок складывается весь ураган, и в моем ограниченном сознании все же умещался весь ужас, потрясший всю землю и даже, как говорят, всю вселенную.

II

Как началась катастрофа, я ничего не могу рассказать. Теперь известно, что первые грозные явления, так сказать, сигнал к общему восстанию, произошли на Центральной Станции. Но что там свершалось, какое чудовищное зрелище предстало людям, работавшим там, — не расскажет из них никто, потому что все они погибли до последнего. Теперь, по разным догадкам, стараются восстановить адски-фантастическую сцену, разыгравшуюся в огромных подземных залах Станции: ливни внезапно вспыхнувших молний, целый потоп электрических разрядов, грохот, подобный миллиону громов, ударивших одновременно, сотни и тысячи людей, — инженеров, помощников, рядовых рабочих, — падающих обугленными, уничтоженными, разорванными в куски или кривляющимися в мучительно-невероятной пляске... Но все это — лишь предположения, и, может быть, все происходило совсем не так. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю и ничего не знал в те минуты, скорее — мгновения, когда все это совершалось.

Примечательно, что нас, всю семью, разбудил, как всегда, утренний звонок, поставленный на 7.15. Следовательно, четверть восьмого утра аппараты еще действовали нормально, если только то не было дьявольской хитростью со стороны заговорщиков, не желавших, чтобы раньше времени узнали о начавшемся восстании. Мы зажгли свет, жена поставила на плитку автоматический кофейник, Андрей прибавил тепла в комнатах, — и все наши распоряжения исполнялись аккуратно. Или катастрофа произошла несколько минут спустя, или в нашем доме действовал не ток со Станции, а местный аккумулятор, или, повторяю, мятежники коварно скрывали от жителей города истинное положение вещей... За стенами слышался обычный гул моторов и пропеллеров.

Я торопился, так как по пути на службу предполагал навестить своего друга Стефана, который был болен. Не желая терять времени, я попросил бабушку (так все в семье называли мою мать) сказать Стефану по телефону, что буду <у> него. Старушка взяла трубку городского телефона, поднесла ее к уху, нажала соответствующие цифры на таблице и, наконец, соединительную кнопку... И вдруг произошло нечто, чего мы сразу не могли понять. Бабушка трагически вздрогнула, вся вытянулась, подпрыгнула в кресле и рухнула наземь, выронив телефонную трубку. Мы бросились к упавшей. Она была мертва; это было несомненно по ее искаженному лицу и по отсутствию дыхания, а ухо, которое она держала у телефона, было прожжено, словно ударом молнии невероятной силы.

Мы глядели друг на друга и с отчаяньем и с удивлением. Конечно, сделаны были попытки привести старушку в чувство, но я сразу увидел, что это бесплодно. «Надо вызвать врача», — сказал я и нагнулся, чтобы поднять телефонную трубку. Но жена бросилась ко мне одним прыжком, схватила меня за руку и закричала решительно: «Нет! Нет! Не трогай те-

лефона! Ты видишь: в нем что-то испортилось! Тебя убьет, как бабушку!» Каким-то инстинктом Мария угадала правду, почти насильно, — так как я возражал и сопротивлялся, — не допустила меня до телефона, и тем спасла мне жизнь, — увы! напрасно! Много лучше для меня было бы погибнуть тогда, в самом начале ужасов, такой же мгновенной смертью, как моя бедная мать!

После недолгого спора мы решили было, что я немедленно поднимусь в 14-й этаж, где, как мы знали, жил молодой врач. Уже я направился к двери, как внезапно погас во всей квартире свет. Было уже достаточно светло на улице, но все же это явление нас поразило. И опять Мария, с удивительной проницательностью, сразу определила совершающееся. «Что-то испортилось на Станции, — сказала она, — будь осторожен!» Потом она повелительно приказала Андрею не прикасаться более ни к каким кнопкам и рукояткам: чудесная прозорливость женщины, не спасная, однако, ее самое! А я между тем уже был на площадке. К моему изумлению, там толпилось человек двадцать, встревоженных, взволнованных. Оказалось, что почти в каждой квартире случилось какое-нибудь несчастье: некоторые были убиты, как бабушка, при попытке говорить по телефону, другие получили страшный удар при прикосновении к рычагу телекинемы, третьих обварило вырвавшимся паром, одному заморозило руку из холодильника и т. д. Было ясно, что правильная работа машин нарушилась, и что все провода таили теперь опасность.

Обменявшись бессвязными объяснениями, мы решили вызвать лифт. Долго никто не решился дать нужный сигнал. Наконец, какой-то пожилой человек отважился нажать кнопку. Мы смотрели на него со страхом, но он остался невредим. Однако, каретка не появлялась: ток не действовал. После некоторого колебания, я побежал вверх по лестнице, так как мне надо было пройти только 5 этажей. На всех площадках показывались испуганные лица; меня беспрерывно спрашивали, что случилось. Не отвечая, я добежал до квартиры врача и, уже не смея звонить, постучал в дверь кулаком. Доктор открыл мне сам, изумленный дикими стуками, так как я колотил, как сумасшедший. Он еще ничего не знал и выслушал мои сбивчивые объяснения не без сомневающейся улыбки; однако согласился тотчас идти к нам, чтобы оказать помощь бабушке, при этом успокаивал меня, что она, вероятно, лишь в обмороке.

Перед моим приходом доктор был занят какой-то работой в своей маленькой лаборатории, куда я прошел за ним из передней. Теперь, собираясь идти со мной, он хотел, должно быть, что-то герметически закрыть или, наоборот, что-то привести в действие. В точности я не знаю, что именно собирался сделать доктор, только, забыв о моих предостережениях или не обратив на них внимания, он небрежно протянул руку и взялся за какой-то рычажок, чтобы повернуть его. Очевидно, к рабочему столу доктора были приспособлены особые провода, только вдруг, на моих глазах, от рычажка отделилась синеватая искра величиною с добрую веревку и послышался роковой треск — род маленького грома. И доктор рухнул передо мною на ковер, пораженный насмерть этой домашней молнией... Я замер в *(на этом текст обрывается)*

<1908>

ГБЛ, ф. 386. 34. 13, л. 20—24. Автограф.

МЯТЕЖ МАШИН

Фантастический рассказ *

1

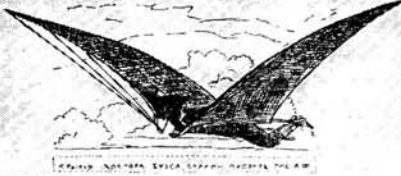
Чтобы понять ход событий, которые будут рассказаны, надобно ясно представить себе всю организацию жизни в ту эпоху.

Усиленное развитие техники началось в XIX веке. До этого времени человечество в течение двух тысячелетий в области техники лишь восстанавливало открытия древних. Такие строения, как Пантеон Агриппы, колосс Родосский, великая римская клоака, не говоря о больших пирамидах, даже заставляют думать, что древние народы обладали более могущественными техническими средствами, нежели Европа Средневековья, Возрождения, Реформации и «века философов». На то же намекают смутные известия о познаниях древних египтян в области электрофизики и о паровых машинах, конструированных жрецами Мемфиса и Фив. Исключение составляло лишь военное искусство: введение огнестрельного оружия было значительным шагом (вперед или назад, не будем спорить) и, конечно, ни в какое сравнение с порохом не мог идти «греческий огонь» византийцев. Чтобы быть справедливыми, помянем еще книгопечатание, впрочем, известное задолго до того китайцам, да и небезызвестное римлянам, печатавшим таблицы с гравированных досок, и изобретение Диаса, компас, хотя оно не без натяжки подходит под понятие «техники» и хотя свойства магнита были достаточно известны древним.

В XIX веке все это сразу изменилось. Людей обуяло какое-то безумие в непрерывном желании удесятерить и утысячить свои силы через посредство машин. Подчинение стихий — такова была первая задача, поставленная себе человеком. Подмена физического труда человека, животных и, так сказать, непосредственного труда природы работою особых аппаратов — вторая. Наконец, третья — сокращение пространства. Вторая задача могла быть решена лишь после разрешения первой; третья — лишь тогда, когда были удачно решены обе первых. Но каждое новое изобретение способствовало совершенствованию более ранних; одно цеплялось за другое, поддерживало и поднимало его; получался непрерывный ряд успехов техники, настолько расширивших ее области и изощривших человеческую сообразительность, что, наконец, быть изобретателем стало самым обычным явлением. Каждый неглупый человек, поучившись немного, мог сделать изобретение, которое две тысячи лет назад обессмертило бы имя нового Архимеда и Гierasона.

В деле победы над стихиями особенно выдавались две: подчинение пара и овладение силой электричества. Древние знали обе эти силы, но древним не приходило в голову, какие применения можно сделать из этой мощи. Отчасти, может быть, древние меньше нуждались в работе стихий, довольствуясь трудом рабов, тоже своего рода стихией древнего мира. Век XIX-ый заставил пар возить себя и работать за себя. Поплыли первые «пироскафы», бороздя моря; стальные иглы рельс пронзили все страны от океана до океана; застучали всякого рода машины, исполняя

* Басни принято сопровождать нравоучением. Моральные следствия из рассказов обычно предоставляется делать читателям или, в крайнем случае, критике. Подчиняясь такому обыкновению, и я не решаюсь истолковать аллегорию своего вымысла. Но да будет мне все же позволено сделать один намек. В наши дни, дни «великой войны», когда наши противники значительнейшую долю своих упований основывают на *техническом превосходстве* Германии, может быть, не столь несвоевременной покажется фантастика, пытающаяся олицетворить технику. Та пропасть, в которую ведут крайние выводы германского символа веры, — вот то темное и грозное видение, предносившееся пред воображением автора, когда он обдумывал излагаемую здесь невероятную историю (примеч. Брюсова).



КРЫЛЬЯ.

И, паря ленив, прирось кь земле.
Т. Ю. С. 1905.

Крылья—парашютизм, рискованный поздравок Разума и Воли Тьме. Это затеянная мечта, дремлющая любовь и надежда. Смысл, кажущийся таким близким. Крылья оправдывают тело, поднимать его, делять легким, быстрым, бодрым, сильным: купать в прозрачном эфире, мчать наравн с ветром.

Крылья—испытание нашего разума, настойчивости, изобретательности, ловкости, шуток.



Отсутствие крыльев—общее сознание бескисля, ограниченности. Не могли достичь реальной высоты, земных периня, победить тяжесть, решить простую физическую задачу? В этом не достигли, то как сможете достичь в большем?

КРЫЛЬЯ

39

И повел Его въ Иерусалимъ, и поставилъ Его на крыльяхъ храма, и сказалъ Ему: если Ты сынъ Божий, бросься отсюда внизъ.



Ибо написано: Ангеламъ своимъ заповѣдуетъ о Тебѣ сохранить Тебя; И на рукахъ понесутъ Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею (Матт. 22, 11—12).

Иисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: сказано не повѣдай Господи Имя твоего (Второз. 6, 16; Луки 11, 9—12). Иисусъ говоритъ о полетѣ, а не о оупѣ воблѣ.

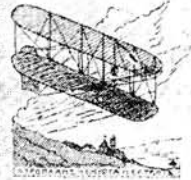
Полетъ съ Христовой точки зрѣнія есть демоническое явленіе, дерзость, абсолютное искусство. Это горакня Тугарина.

Полетъ Тугарина и вѣтъ ушеть, Салма на само добра рои. Полетъ на буженіи крыльяхъ нѣтъ побѣды лѣтъ. Лѣтъ Тугарина Бѣга тутъ съ правды лѣтъ. Значитъ Тугарина буженіи буженіи. Полетъ Тугарина нѣтъ собакъ на силу жень.

Но мы-то видимъ возможности, простоту, легкость полета, поэтому для насъ здѣсь не гордыня, искусство дерзости, а только красивый, любящее искусство.

Но тара, названное гавиомъ, а крылья лѣтъ намъ удовлетвореніе эстетическаго чувства: только крылья могутъ украситъ голубое небо.

На крыльяхъ сможемъ мы бороться съ ветромъ, мчаться ночью надъ пустыней среди тучъ, пролетать надъ черными ущельями, лететь надъ бездоннымъ моремъ; тренировать грудь и мускулы, помышлять энергій жизни, вести воздушные хоры.



«КРЫЛЬЯ»

Очерк А. Филиппова об истории создания летательных аппаратов. С рисунками автора
«Весы», 1905, № 5

в несколько минут то, на что когда-то человек был должен тратить часы и дни. Еще могущественнее оказалось электричество. Во многом оно заменило пар, работая еще стремительнее, еще совершеннее его, но в то же время оно разлило свой волшебный свет по городам и дорогам; оно стало передавать мысли через сотни и тысячи верст с молниеносной быстротой, сначала по телеграфной проволоке, а потом и без всякой проволоки, и голос из одного города в другой по телефонным проводам; оно сумело запечатлеть навсегда мгновение, и то, что было, стало вечным, затаенное в валиках фонографа или пластинках граммофона и в фильмах синематографа; оно осуществило тысячи чудес, которые только снились прежним векам. Рядом развивались разные технические приспособления: работали машины швейные, ткацкие, прядильные, чесальные и другие; машины заменили человека в поле: пахали, сеяли, косили, жали, молотили, мололи за него; машины заменили человека на заводах, и прежние рабочие, которые владели то иглой, то молотом, то ножом, то мехами, стали только присматривать за стальными чудовищами; машины заменили человека дома, писали за него и готовили за него кушанья, стирали за него и делали за него вычисления. Наконец, были приспособлены те приборы, которые получили название «двигателей внутреннего сгорания», и вот изобрели автомобили, поплыли турбинные корабли, нырнули под воду субмарины, а в небе зареяли дирижабли и аэропланы...

Так обстояло дело к концу XIX и началу XX века. Пар, электричество и «двигатели внутреннего сгорания» позволили человечеству победить пространство. Не говоря об том, что люди проникли на оба полюса и в пустыни всех материков, не говоря об том, что люди научились летать, соперничая с птицами,— расстояния между отдельными пунктами земного шара сократились на сотни раз. Что прежде было путешествием

многих недель, стало переездом одних суток; места, куда еще недавно могли проникнуть лишь отважнейшие из пионеров, сделались доступны для скачущих туристов; вести дня в несколько минут становились достоянием всех читающих газеты; вместо письма, которое когда-то должен был нести раб, прячась от разбойников на больших дорогах, мои мысли стали передаваться телеграфом и телефоном.

Наконец, во владение человечества вошла новая могущественная энергия: радий. Это сила, которая была небезызвестна во все былые времена. Прежние люди и две тысячи лет назад лечились грязью из радиоактивных источников; кусок радия лежал в чудесных амулетах, которыми колдуны исцеляли больных. Но XX век извлек из радия тысячи других применений. Человек заставил радий не только лечить себя, но светить себе и работать на себя, как пар и электричество. Возникли машины, основанные на свойствах радиоактивности, машины, страшные своей всеобъемлющей силой и страшные тем, что они были губительны для неосторожных. В этих таинственных изобретениях была и великая польза людям и смерть для незнающих.

Последним шагом того же века было открытие метода, получившего название «мутационного», то есть способа обращать одну энергию в другую без посредства сложных приборов. И прежде для выработки, например, электрической энергии пользовались силой пара. Мутационный метод дал возможность любую энергию обратить в ту, которая в данном случае наиболее применима. Особенную важность имело это для использования энергии, заключенной в радиоактивных веществах, которая сама по себе была мало пригодна для целей практических. Таким образом человечество получило неиссякаемый запас электрической энергии, притом получаемой с таким притоком и быстротой, что производство ее превысило потребности всего земного шара. Явилась возможность применить электрическую силу ко всем сторонам жизни, ко всем надобностям научным, общественным и частным, во всех, без исключения, местностях земли. Всюду и для всех было всегда всегда наготове, к услугам электричество. Его стало столь же много, как воздуха, может быть, больше; ежедневно, ежеминутно электрическая энергия вырабатывалась в таком количестве, что всякий желающий мог расходовать ее по своему усмотрению, по своему капризу, хотя бы для забавы, и тем не менее оставался еще огромный избыток, который и скапливался в неприкосновенном запасе, способном, благодаря тому же мутационному методу, сохраняться долгие столетия с ничтожной потерей — 0,0001 % в год.

Такое было положение к началу той эпохи, когда началось столь знаменитое «техническое объединение» человечества и «техническая организация земного шара».

2

Население земли исчислялось в то время, — берем везде круглые цифры, — в 5 миллиардов людей. Четвертая часть этого количества — даже немного больше четвертой части — жила в главных городах, или так называемых столицах мира, которых насчитывалось 122, так что в каждой было средним числом 10 миллионов жителей. Такое же количество, то есть примерно около одной четвертой всего населения, жило в меньших городах, которых было много тысяч, причем города с населением в пол-миллиона принадлежали к числу весьма обычных. Вторая половина человечества, 2½ миллиарда, были, по старинной терминологии, сельские жители, хотя это название совершенно утратило свой прежний смысл. Деревень или сел в прежнем смысле слова на земле не было; были или маленькие городки со специальным назначением: города-фабрики, города-университеты, города-библиотеки, города-лечебницы и

тому подобные, или отдельные группы домов и одиночные строения, где жили люди, связанные с землей: то есть или занятые обработкой ее для земледелия и огородничества, для лесоводства и скотоводства и тому подобного, или имеющие какое-либо административное назначение, или, наконец, приезжие, поселившиеся вне города для собственного удовольствия. Усовершенствование средств сообщения делало почти безразличным расстояние жилья от любого города: жители в несколько минут могли достичь на своем аэроплане до ближайшей станции подземной дороги и оттуда в «автоматических сигарах» в полчаса до ближайшей «столицы» или в несколько часов до любого другого пункта. Если же к числу «городских» жителей принадлежали и жители «малых» специальных городов, то, очевидно, что почти все население земли перебежало в города: вне их, действительно среди полей, гор или лесов, жителей не было и 400—450 миллионов, т. е. менее 10% всего населения.

Городская жизнь, о которой только и стоит говорить по отношению к этой эпохе, благодаря тому скоплению электрической и иной энергии, о которой мы говорили выше,— везде была единообразна. Физический труд, даже всякое телесное усилие почти вовсе исчезли из жизни человека, оставаясь только в области игр, гимнастики и спорта. Люди еще забавлялись полетами на аэропланах, поездками на электрических автомобилях, плаванием на моторных субмаринах, еще играли в мяч, упражнялись в бегании, плавании, прыжках; были чудачки, которые еще ездили верхом или на велосипедах, поддерживали традиции бокса и состязания на ранирах, но все это относилось к той же области, как игра в карты или на бильярде, как шахматы и т. п. Потребности в физическом труде не было в такой мере, что врачи согласно констатировали начинающуюся у людей атрофию мускулов, умения быстро ходить и бегать, способности владеть руками.

С первого часа после пробуждения человек вступал во власть машины. О часе пробуждения возвещал автоматический будильник; процесс одевания и утренней ванны был облегчен разными приборами до *minimum'a*. Выйдя из своей квартиры, человек, нажав пуговку, вызывал к себе лифт своего многоэтажного дома и спускался прямо до глубин «метрополитена» или «империаля», смотря по тому, куда надо было ехать. Там проходил в вагон подземной дороги, опять-таки обслуживаемой машинами и приборами без всякого участия людей, и достигал нужной станции; с нее по другому лифту поднимался до места своей дневной работы. Так как на всех поприщах работа исполнялась машинами, то человеческий труд состоял почти исключительно в вычислениях. Все производство совершалось с помощью машин; вся торговля велась автоматически; товары перевозились из страны в страну и через океаны *(на этом текст обрывается)*

<1915>

ГБЛ, ф. 386. 34. 13, л. 1—6. Черновой автограф.

ПЕРВАЯ МЕЖДУПЛАНЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

От издателей

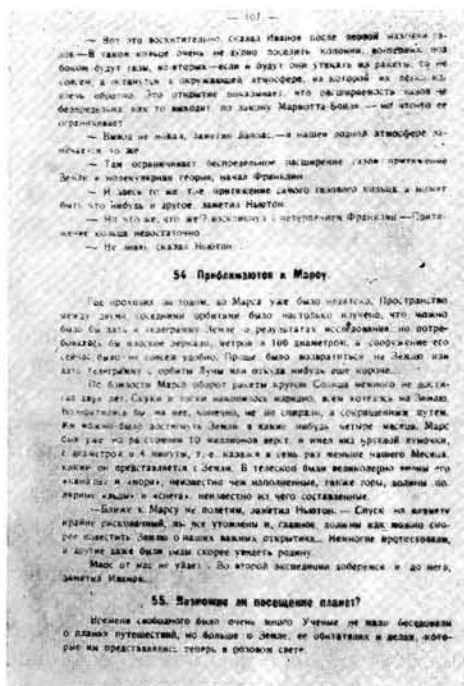
Получив право опубликовать *раньше появления в печати оригинала* наиболее замечательные и наиболее захватывающие по содержанию страницы из дневника одного из участников Первой Междупланетной Экспедиции, товарища Уильяма Джемса Морли, мы сочли излишним предпосылать им подробное предисловие. Экспедиция возбудила такой напряженный интерес во всем цивилизованном мире, ей было посвящено так

много отдельных брошюр и статей в журналах и газетах на всех языках, что ее организация и все, что было до сих пор оглашено о ее ходе и трагическом завершении, конечно, хорошо знакомо каждому читателю. Авторы предисловия, по нашему предложению, решили ограничиться лишь самым кратким изложением основных фактов, относящихся к отважному, еще небывалому в летописях человечества предприятию, останавливаясь несколько подробнее на некоторых мелочах, которые могли ускользнуть от внимания иного читателя, но которые, безусловно, необходимы для понимания самого текста публикуемого дневника. Точно так же в примечаниях к дневнику, составление которых любезно приняли на себя те же ученые, перу которых принадлежит Предисловие, даются почти исключительно те пояснения, которые пришлось извлекать из других материалов, собранных той же экспедицией и, следовательно, еще не ставших общим достоянием науки; что касается до общих сведений, — разумеется, тоже необходимых для уяснения текста, — то они за последнее время столь часто излагались в печати в связи с обсуждением Экспедиции, что, несомненно, тоже стали общезвестными даже для лиц, никогда прежде астрономией не интересовавшихся.

С своей стороны, как издатели, мы имеем еще добавить несколько слов относительно ценности публикуемого нами документа.

Было официально объявлено, что все материалы, которые удалось извлечь из обломков междупланетного корабля, поступили в распоряжение особой комиссии, составленной из ученых астрономов, физиков, биологов, зоологов, ботаников и минералогов, при A. S. A. S. (Американском Государственном Астрономическом Обществе). Материалы эти состоят частью из коллекции, собранной участниками Экспедиции, частью из таблиц с их наблюдениями, фотографических снимков и т. п., частью, наконец, из трех дневников этих трех пионеров, которые первые из людей вступили на почву другой планеты. Дневник организатора Экспедиции, тов. Пэриса, обрывается на дне прибытия междупланетного корабля на Марс — по причинам, которые будут ясны для читателей из дальнейшего; дневник назабвенного товарища О'Рука, потерю которого приходится оплакивать не только как смелого исследователя, но и как великого ученого, обнимает время, по причинам, также излагаемым дальше, всего на два дня большее; кроме того, оба эти дневника очень кратки. Напротив, дневник товарища Морли содержит описание всего хода Экспедиции, начиная со дня отбытия ее с Земли до того дня, когда междупланетный корабль вновь должен был опуститься на ее почву; вместе с тем дневник этот изложен с самой широкой обстоятельностью, переходя во многих частях как бы в художественное повествование.

Точнее говоря, то, что мы называем «дневником» товарища Морли, не является собранием ежедневных, сделанных наспех записей: это, скорее, мемуары, написанные уже после того, как самые изображаемые события отошли от автора на некоторое расстояние. Так как параллельно сохранилась и записная книжка тов. Морли, в которую он, по примеру своих сотоварищей, вкратце заносил каждый день свои впечатления, то надо предположить, что так называемый его «дневник» был им составлен в дни обратного перелета от Марса до Земли. Нам представляются факты в таком порядке: во время перелета от Земли до Марса Морли, как и два других члена Экспедиции, Пэрис и О'Рук, вел только краткие записи пережитого им за день; в дни своего пребывания на Марсе он, хотя менее систематично, продолжал делать то же; на обратном же пути, внося изредка краткие сообщения в ту же записную книжку, он использовал досуги шестидневного перелета для того, чтобы дать первую обработку своих беглых заметок в форме связного рассказа. Это происхождение «дневника» ни в коем случае не лишает его всей прелести непосред-



ПОВЕСТЬ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО «ВНЕ ЗЕМЛИ»

Калуга, 1920

Обложка и страница повести

ственных наблюдений, так как писался он в те дни, когда они должны были оставаться еще крайне острыми и живыми, притом почти при полном отсутствии новых впечатлений.

Известно, что тов. Морли был единственным членом Экспедиции, которому суждено было предпринять обратный путь на Землю, после того как все трое исследователей сравнительно благополучно вступили на негостеприимную почву планеты Марс. Но трагический конец ждал Морли, так сказать, у самой пристани. Спуск на Землю первого междупланетного корабля оказался неудачным; вместо того чтобы, медленно опускаясь, вонзиться в почву своими острыми «якорями», — как то неизменно удавалось при пробных спусках и как то было достигнуто при спуске на Марсе, — корабль ударился с еще довольно значительной скоростью о Землю своим боком, что скорее походило на падение, чем на спуск. Оно было так сильно, что корабль дважды подскочил, снова ударяясь о землю, как резиновый мяч. Вдобавок от сотрясения внутри корабля произошел частичный взрыв в силу смещения разных находившихся там химических элементов. В результате весь снаряд оказался страшно изуродованным, а все содержимое какоты частью уничтоженным, частью разбитым вдребезги. Тело несчастного тов. Морли представляло обугленную массу мяса и костей.

Все, что уцелело от этой катастрофы, было с величайшей тщательностью рассортировано, причем удалось отделить от обломков разбитых инструментов и утвари скудные остатки коллекций, минералогической и ботанической, собранных исследователями на Марсе; несмотря на жалкий вид этих остатков, надеются, что они дадут драгоценный материал

для выводов о строении почвы Марса и о растительности на нем. В более счастливом положении оказались рукописи исследователей, так как шкаф, в котором они лежали, был в числе уцелевших от взрыва; эти рукописи — содержание которых указано выше — и послужат основными документами, на основании которых будет возможно восстановить всю картину экспедиции и использовать наблюдения и открытия, сделанные смелыми исследователями.

Полностью все эти рукописи будут опубликованы в монументальном издании A. S. A. S., которое имеет появиться под названием: «Материалы, касающиеся первой экспедиции на планету Марс», и над редактированием которого ныне работает вышеуказанная комиссия. В настоящем издании мы публикуем часть «дневника» тов. Морли, именно те страницы, которые описывают десять дней его пребывания на планете Марс. То, что непосредственно предшествовало этим десяти дням и следовало за ними, то есть путь от Земли до Марса и обратно от Марса до Земли, вкратце изложено, также на основании того же дневника, в Предисловии редакторов.

И з д а т е л и

П р е д и с л о в и е р е д а к т о р о в

Известно, что принципиально проблема межпланетных сообщений была решена еще в начале XX века, причем первые межпланетные корабли, сконструированные в то время, получили название «ракетных»; по характеру тех двигателей, которыми они были снабжены. Однако на твердую почву конструкции подобных кораблей стала лишь с того времени, когда удалось найти практическое применение внутриатомной энергии и использовать ее в качестве моторной силы. Всем, вероятно, памятно, что после ряда неудачных и частью трагических опытов, был, наконец, найден тип этероневов *, обеспечивавших сравнительную безопасность полета, и что несколько смелых исследователей, имена которых записаны в золотую книгу науки, совершили ряд удачных экспедиций за пределы земной атмосферы, причем некоторые из них приближались к Луне на расстояние 120 ее радиусов.

Однако существовало одно затруднение, долгое время казавшееся неодолимым, которое не позволяло человеку предпринять путешествие в более отдаленные области пространства. Дело в том, что при всей скорости, какую можно было развить, пользуясь внутриатомной энергией, огромность расстояний между небесными телами все же требовала значительного времени для перелета от Земли хотя бы до ближайшей к ней планеты — времени, исчисляемого десятками дней. Между тем этеронавтам приходилось уносить с Земли все, необходимое им в пути, и прежде всего кислород для дыхания и воду для питья. Трудность и состояла в том, чтобы сконструировать снаряд, подъемная сила которого была бы такова, чтобы он мог вместить в себе запасы, достаточные для поддержания жизни путешественников в течение всего их пути, как вперед, так и обратно, так как было мало надежды на возможность пополнить их на другой планете.

Трудность эта была разрешена только новыми техническими открытиями в области химии, когда найден был способ обращать все газы в твердое состояние, — сохранять их в форме плиток, по внешности напоминающих металлические. Рядом с этим стоит изобретение простых при-

* Кораблей для полетов в межпланетном пространстве (от греч. aither — эфир и франц. nef — корабль).

боров, дающих возможность без труда обращать эти конденсированные газы в продукты, необходимые для жизни человека, т. е. в воздух для дыхания и в воду для питья. Эти два важных открытия нашего времени сделали, наконец, вопрос о межпланетных сообщениях практически разрешимым*

«ИЗ «ДНЕВНИКА» МОРЛИ» **

...минуты были ужасны. Уиль один стоял у мотора, опустив обе руки на рычаги; по внешности он казался спокойным, но лицо его было торжественно бледно. Нам, Крафту и мне, оставалось бездействовать, и то было мучительней всего. В напряженном волнении хотелось что-то схватить, усилием рук удерживать падающий этеронаф, что-то делать, к чему-то приложить свою силу, но приходилось неподвижно стоять.

Я смотрел на циферблат. Стрелка показывала более двух километров в секунду. То был не спуск, то было падение, чудовищное падение с высоты 500 000 метров. Еще несколько минут, «Пироент»*** со скоростью пушечного ядра ударится о поверхность планеты, разлетится в осколки от страшного толчка и от взрыва заключенных в нем газов, обратит все, находящееся в нем, нас в том числе, в горсть пепла! Погибнуть у самой пристани, погибнуть, когда мы уже достигли пределов того мира, где еще никогда не был человек, погибнуть, почти ступая ногой на почву того Марса, о котором ряд веков мечтали и гадали поэты и мыслители! Погибнуть — и тем обратить в ничто все наши усилия, всю нашу борьбу со стихиями и законами природы, весь подвиг нашего двадцатидневного перелета! Погибнуть!

Всё это и многое, слишком многое другое успел я думать, пока в стремительном падении мы пролетели десять, двадцать, сто километров... Такого отчаянья я не испытывал еще никогда; мертвящая тоска уничтожала самый страх. Я взглянул в нижнее окно: уже диск планеты заполнял все пространство; уже то было не небесное тело, к которому устремлялся межпланетный корабль, но *земля*, земля, расстилающаяся под нами! Об эту землю сейчас мы будем разбиты вдребезги. Но почему? Отчего мотор не действует так же властно, как на пробных полетах? Не сошел ли с ума Уиль? Не кинуться ли на него, вырвать у него рычаги, спасти себя и все наше дело?

Вновь я взглянул на циферблат. Стрелка показывала скорость в один километр в секунду. Значит, падение замедлилось? И на моих глазах стрелка откатнулась еще: пятьсот метров в секунду! Сердце успело простучать не более десяти раз, цифра была 300. Потом я видел 280, 250, 200, 150... Я посмотрел на Крафта; тот стоял не шевелясь, но его пальцы были судорожно зацеплены за ручку двери, а глаза недвижно уставлены на тот же циферблат. *Пятьдесят метров**** в секунду*. Нет! уже только тридцать... двадцать пять... восемнадцать... десять... Успеем ли? Еще взгляд в нижнее окно, — там серая масса какой-то равнины; опять на стрелку, — полтора километра — скорость хорошего автомобиля *****.

* «Предисловие редакторов» осталось незаконченным.

** Имена персонажей в главах из «дневника», кроме самого Морли, не совпадают с именами, названными в предисловии «От издателей». Вместо Париса и О'Рука появляются Уиль и Крафт.

*** Наименование, данное здесь межпланетному кораблю (от одного из древнегреческих названий планеты Марс — Ругоейс, огненный). В архиве Брюсова сохранилась и его драма «Пироент», героем которой является изобретатель снаряда, предназначенного для полета на другие планеты.

**** В автографе явная описка: километров.

***** Названная здесь скорость — полтора километра в минуту, т. е. 25 метров в секунду, не согласована с достигнутой уже раньше скоростью 10 м. в секунду.

Уиль повелительно крикнул:

— Лечь!

Безотчетно я повиновался. Я бросился на свою койку и привычным жестом застегнул ремни, привязывающие меня к стене. Еще я видел, как то же сделал Крафт. Потом мелькнул жест Уиля, поворачивающего центральный рычаг. В тот же миг Уиль закрыл электричество, и было слышно, как в темноте он сам прыгнул к своей койке. Может быть, после того прошла еще секунда или две, но мое ощущение было таково, что мгновенно затем последовал удар. «Пироент» соприкоснулся с почвой Марса и вонзился в нее всеми своими тремя якорями.

VII

От сотрясения я потерял сознание, но, по-видимому, лишь на самое краткое время. Очнувшись, я сразу сознал положение. Сделав попытку двинуться, я убедился, что не получил никаких серьезных повреждений; было ушиблено бедро, но сначала боли не чувствовалось. Тотчас же я встал на ноги; пол под ногами был совершенно ровным. Ощупью я ориентировался в темноте, нашел уступ мотора, дотянулся до выключателя, зажег электричество. О, радость! Оно действовало, и все вокруг наполнилось светом.

Наша каюта имела почти обычный вид. Все было на своих местах: моторный стол, шкапы, которые даже не раскрылись, наши койки, даже инструменты, вделанные в стены; только барометр был выбит из своего гнезда и валялся разбитым. Но оба мои товарища, подобно мне, были сброшены на пол, так как ремни оборвались; Уиль лежал около самой койки, Крафт — по самой середине каюты. Ни тот, ни другой не двигался.

Разумеется, следовало раньше всего оказать помощь товарищам, убедиться, живы ли они. Но неодолимое любопытство было сильнее. Окна были закрыты; Уиль успел захлопнуть и нижнее. Я прямо шагнул к окну у мотора и нервно нажал кнопку; механизм тоже оказался в исправности, ставня соскользнула и прямо передо мной открылось то, чего еще никогда не видел человеческий глаз. Первый из людей я взглянул на пейзаж Марса.

Казалось, были поздние сумерки, хотя солнце, стоя сравнительно высоко над горизонтом, прямо било в стекло лучами — солнце ослепительное, более яркое, чем на Земле, но в форме маленького кружка, меньшего, чем видимый с Земли диск Луны. А под этим солнцем простиралась даль — не скажу степь, не скажу пустыня, но что-то однообразно-ровное и одноцветно-тусклое, не то бурого, не то коричневатого цвета. Никакой растительности, ни признака реки или ручья, ни малейшей возвышенности, сколько-нибудь значительной, ни гор, ни холмов, лишь кое-где ничтожные изломы поверхности, словно заглубелые морщины на старческой коже. И самая почва слабо, но отражавшая лучи маленького солнца, напоминала то слой лавы, то кованность металла, то какой-то потемнелый лед. И над всем этим тусклое небо, голубое, но не бледное, а с чернотой, как будто здесь художник подмешал в жидкую синь слабый раствор туши. Все — жутко, не величественно, а уныло, не поразительно новизной, но тоскливо в своей монотонной безжизненности.

— Товарищ Морли!

Вероятно, я смотрел на пейзаж не более двух секунд. Но Уиль уже стоял на ногах и звал меня, звал строго, тоном выговора подчиненному.

— Товарищ Морли! Прежде всего мы должны оказать помощь Крафту.

Опять безмолвно я повиновался.

Мы подняли Крафта, все еще бесчувственного, положили на койку.

Наскоро я освидетельствовал его. Легко было обнаружить вывих левого запястья, так как при падении у него подвернулась рука, и разрыв кожных покровов головы за левым ухом от удара об угол шкафа. Сердце однако билось равномерно, не было признаков опасного сотрясения.

Молча я стал выполнять свое дело врача. Уиль не помогал мне: он осматривал мотор, приборы, хранилища газов. Через несколько минут Крафт пришел в себя. Осторожно я объяснил ему его состояние. Все без содействия Уиля, я раздел больного, вправил и забинтовал ему руку, промыл его рану и наложил повязку на голову. Несколько капель евбиоза закончили мою работу. Крафт, как то было в его характере, перенес болезненную операцию без всякой жалобы и, присев на койке, объявил, что теперь чувствует себя вполне хорошо.

Уиль расслышал эти слова и снова отдал мне приказание:

— Товарищ Морли, потрудитесь достать для анализа пол-литра внешнего воздуха.

Начальнический тон раздражал меня; я не двигался. Уиль спросил насмешливо:

— Вы забыли, что у нас для этого есть особое приспособление?

Не желая начинать новых споров, я исполнил приказание. Механизм, придуманный самим Уилем, оказался вполне целесообразным. Через несколько минут в нашем распоряжении была алюминиевая реторта, наполненная воздухом Марса.

Уиль взял ее из моих рук, откинул стол и занялся анализом. Я сел на койку Крафта, делая вид, что для меня безразлично оказываемое мне пренебрежение, и мы начали тихо беседовать, конечно, о том великом моменте, какой переживали оба.

— Вывихнутая рука и эта рана за ухом — пустяки, — говорил Крафт. — Завтра же я отправляюсь исследовать эти страны. Что они безжизненны, неверно. В той или иной форме, мы найдем здесь и флору и фауну. А если даже нет, то ведь для открытий минералогических и геологических — или, как сказать? марсологических! — здесь неисчерпаемая копь! Завтра, в один день, мы совершим открытий больше, чем все земные натуралисты за десятки лет трудолюбивейших исканий! Завтра!

Уиль подошел к нам.

— Товарищи, — сказал он, — нам надо поговорить серьезно. Вы способны, Крафт?

— О да! еще бы! — отвечал тот.

— Тогда слушайте.

Не спеша, Уиль взял один из переносных стульев, сел у койки Крафта, оглядел нас обоих, но, не ожидая от нас слов, начал говорить. Он излагал свои соображения тоном, как если бы был на кафедре в университете перед малоподготовленными студентами.

XVI

— Мы достигли поверхности Марса, — говорил нам Уиль, — чего это нам стоило, вы знаете. Все же я должен обратить ваше внимание на два обстоятельства: на время, которое нам пришлось потратить на перелет, и на место, которое нам пришлось принять за точку спуска. Вы помните, что по теоретическим расчетам предполагалось, что перелет от Земли до Марса потребует, при максимальной скорости 5,6 километра в секунду, время от 116 минимум до 120 максимум земных суток. По тому же расчету предполагалось, что на обратный путь от Марса до Земли потребуются ввиду, увеличения расстояния в связи с поступательными движениями обеих планет по их орбитам, время от 120 минимум до 125 * максимум земных

* Первоначально было: 124.

суток. Итого оба перелета, от Земли до Марса и обратно, должны были предположительно занять от 236 минимум до 244 максимум суток. На пребывание на поверхности Марса предполагалось, при наших расчетах, 20 марсийских суток, которые, как вам известно, почти равны земным суткам, именно содержат 23 земных часа вместо 24. Всего путешествие должно было занять максимум 264 земных суток или около 6.336 земных часов.

Покорно я слушал сообщение Уиля, хотя испытывал при этом озлобленную досаду: все эти цифры были нам давно известны наизусть, и было нелепо терять на их повторение драгоценные минуты, которые можно было употребить с гораздо большей пользой хотя бы на простое обозрение ландшафтов Марса.

Уиль невозмутимо продолжал свой доклад.

— Сообразно с таким вычислением был сконструирован наш этеронеф и его грузоподъемность была рассчитана таким образом, чтобы он мог нести в себе количество кислорода, необходимого для дыхания трех человек в продолжение, круглым счетом, 6.400 земных часов. Точно так же количество водорода и других элементов, взятых на этеронеф, было рассчитано таким образом, чтобы можно было обратить их в такое количество питьевой воды, которое необходимо для трех путешественников в течение 265 земных суток, полагая не свыше 4 стаканов на человека в сутки. Наконец, количество зарядов, приводящих в действие наш мотор, было рассчитано как на два перелета, один максимум в 120 дней при покрытии расстояния в 56 миллионов километров и другой максимум в 125 дней при покрытии расстояния несколько больше, имея небольшой запас, достаточный для небольшого перелета с одной точки поверхности Марса на другую, например, из одного полушария планеты в другое.

Уиль остановился и обвел нас глазами. Крафт неподвижно смотрел в окно, приходившееся прямо перед его лицом, на марсианский пейзаж. Я столь же упорно рассматривал стену над койкой Крафта — зрелище гораздо менее любопытное. Уиль, по-видимому, остался доволен нашим вниманием и продолжал дальше.

— Непредвиденные обстоятельства нарушили наш расчет. Первый перелет от Земли до Марса занял, как вам известно, время свыше 127 земных суток, именно превысил почти на 170 часов то, которое мы считали максимально потребным. Это составляет увеличение почти в 6 %. Причины, вызвавшие это замедление пути, как вам известно, не уяснены еще нами с полной отчетливостью, но есть много вероятия искать их частично в гораздо более сильном влиянии притягательной силы малых планет, испытанной нами в часы, когда наш «Пироент» пересекал орбиту астероидов; частично в гораздо большем сопротивлении мирового эфира, нежели то предполагалось по расчету, не давшем нам довести скорость полета до максимальной величины 5,6 километров в секунду, но понижавшем ее в разные моменты движения на величину от нескольких сотых до одной и даже двух с половиною десятых километра в секунду; возможно еще, что причину указанного явления были некоторые несовершенства сконструированного нами мотора...

«Последней причины вполне достаточно, — подумал я не без злобы, — и ни к чему ссылаться еще на фантастическое трение мирового эфира и на сомнительное увеличение притягательной силы астероидов! Порочность конструкции мотора принадлежит вовсе не *нам*, а *вам* одному, любезнейший товарищ Уиль!» Конечно, вслух я этих мыслей не высказал и старался изобразить на лице выражение холодного внимания.

— По аналогии с опытом перелета от Земли до Марса, — с прежней невозмутимостью продолжал Уиль, — мы должны допустить, что обратный путь потребует такого же увеличения своей максимальной продол-

Несомненное прибытие Марса

1872 — 1892 — 1909.

50 млн. верст

1918 — 90 миллионов вер.

И по $365 \times 24 = 8760$ часов, или 8750 часов

из часа пойдут так, 100 верст

с 10 раз пойдут 1.000 вер.

с 8750 часов = 8750.000

50.000.000 : 8.750.000 = около 6 лет.

Лет в 10-ю часть марсианского года, можно долететь
с Земли Марса, в его землетрясениях, или даже,
если в 6 лет; или другим способом, лет в 10!

РАСЧЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПУТЕШЕСТВИЯ НА МАРС

Автограф, до 1918 г.

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

жительности, т. е. приблизительно в 6%, т. е. займет максимум не 125, а около 132 с половиною земных суток, даже при условии, что наше отбытие с поверхности Марса произойдет не позже ранее намеченного срока и, следовательно, расстояние между обеими планетами останется то же, какое предполагалось по предварительному расчету. Таким образом, на оба перелета, путь к Марсу и обратно к Земле, мы обязаны пока класть сумму 127 земных суток, уже потраченных нами на перелет сюда, и 132,5 земных суток, предположительно необходимых для перелета отсюда до Земли, причем последняя цифра должна ныне считаться минимальной, ибо возможны еще новые случайности, столь же не предусмотренные нами в настоящую минуту, как те, которые задержали наше прибытие на Марс. В общем итоге 127 плюс 132,5 составляет 259,5 земных суток, или, в часах, 6.228 земных часов, точнее же 6.230 часов, так как наш перелет сюда занял на 2 земных часа больше времени, нежели ровно 127 раз по 24 часа. Вычитая эту цифру 6.230 часов из цифры 6.400 часов — время, на которое мы могли взять запас с собою кислорода для дыхания, мы получаем в остатке 172 часа, иначе говоря, немногим больше 7 земных и около $7\frac{1}{2}$ марсианских суток. Это и есть тот срок, который, при сложившихся условиях, мы теперь можем провести на поверхности Марса, пользуясь нашим запасом кислорода. Однако, повторяю еще раз, что эта цифра скорее должна считаться максимальной, т. к. число часов, требуемых для обратного перелета, исчислено нами предположительно и может потребовать увеличения. Следовательно, благоразумнее для нас начать наш обратный перелет ранее, чем через 7 суток, или ранее, чем по истечении 172 земных часов от момента нашего соприкосновения с поверхностью Марса.

Несомненно, вывод Уиля был достаточно поразительным, хотя все мы и предвидели его уже в течение ряда последних дней, когда выяснилось наше опоздание. Тем не менее манера говорить Уиля, совершенно излишняя точность его слов, напоминавшая элементарный учебник арифме-

тики, раздражала меня до крайности. На этот раз я не мог воздержаться, чтобы не вставить едкого замечания.

— Между тем вы, Уиль, из этих 172 часов тратите добрых полчаса на объяснение нам вещей, которые хорошо знаем без вас!

Мое впечатление было, что Крафт посмотрел на меня с ужасом, словно я своей репликой совершил перед убежденным монархистом преступление «оскорбления величества», если не произнес перед верующим богохульства. Но сам Уиль обратил на мои слова не больше внимания, чем на жужжание мухи; он только выждал маленькую паузу и заговорил снова, все тем же тоном.

— Приблизительно на такое же время остается в нашем распоряжении запас того же кислорода, водорода и других элементов для вырабатывания питьевой воды, с той разницей, что рацион выдаваемой воды может быть уменьшен, доведен, например, до трех и даже двух стаканов в день; тогда как уменьшить потребление человеком кислорода крайне трудно и даже губительно для него. Совсем ничего не буду я говорить о запасах для нашего питания, так как сокращение порций в этом отношении еще менее тягостно. Наконец, что касается зарядов для мотора, то, как я уже напоминал, мы имеем некоторый запас их, и, кроме того, можем вовсе не расходовать на Марсе, так что время нашего пребывания на планете не зависит от их количества.

— Однако, в плане нашей экспедиции стоит перелет «Пироонта» из одной точки Марса в другую, — заметил я.

— К этому вопросу я и перехожу, — ответил мне Уиль с той холодностью, с какой отвечает профессор ученику, перебивающему его лекцию.

Опять сделав паузу, Уиль начал изложение второй части своего доклада.

— Вам известно, что по плану экспедиции, только что упомянутому тов. Морли, предполагалось, что мы совершим спуск поблизости от той местности поверхности Марса, которая на наших земных картах этой планеты носит именование «Озера...» Согласно с распространенной гипотезой, сторонником которой являюсь и я, подобные «озера» являются средоточием цивилизованной жизни на Марсе. Оказавшись вблизи подобного центра, мы имели бы возможность сравнительно легко, во всяком случае — быстро, вступить в сношения с разумными обитателями планеты. Однако, как вам тоже известно, непредвиденные условия полета, частью наше опоздание, главным же образом недостаточно исправное действие мотора, не позволили нам самим избрать точку спуска. По причинам, мною еще не приведенным в полную известность, задерживающая сила мотора в период спуска на поверхность планеты оказалась гораздо менее энергичной, нежели то предполагалось по теоретическому расчету и нежели то наблюдалось во время нашего пробного перелета и при опытах с моделями этеронефов моей системы. Возможно, что здесь сыграла роль инерция движения, развитая во время ста двадцатисемидневного пролета по междупланетному пространству...

«Какие нелепости говорит этот человек, выдающий себя за ученого физика!» — подумал я, но решил не вызывать новых споров.

— Как бы то ни было, — методически сказал Уиль, — наш спуск первоначально имел характер падения, тогда как мне, как управляющему мотором, предстояло иметь в виду разрешение двух задач: во-первых, замедлить это падение, обратя его в планомерный и медленный спуск; во-вторых, направить этот спуск на заранее намеченную точку планеты. Так как я с несомненностью увидел полную невозможность выполнить одновременно оба задания, то и должен был сосредоточить свою энергию на осуществлении лишь одного из них. Естественно, что я должен был

избрать первое из них, так как от замедления быстроты падения зависела судьба всей экспедиции...

Я еще раз не выдержал и воскликнул:

— Дорогой Уиль! Это нам всем слишком памятно, известно и понятно! Уж если ваш мотор оказался недостаточно мощным, разумеется, лучше было спуститься хоть куда-нибудь, но благополучно, чем точнейшим образом, на заранее избранное место рухнуть из поднебесья и разлететься при этом вдребезги!

Уиль сделал вид, что не понял моей иронии и самоуверенно заявил:

— Мне удалось достичь поставленной себе цели, и наш спуск произошел совершенно благополучно...

Я взглянул на Крафта с его вывихнутой рукой и перевязанной головой и готов был расхохотаться; Уиль же продолжал:

— Зато я должен был пожертвовать второй стоявшей предо мной задачей, и мы оказались на таком пункте поверхности Марса, который не был нами предварительно избран и местонахождение которого, в сущности, остается нам неизвестным.

— Я полагаю, — сказал Крафт, впервые за все время доклада прерывая свое молчание, — что мы опустились где-либо в области...

— Очень возможно, — благосклонно согласился Уиль. — Пейзаж, видимый нами из окна, соответствует тому представлению, какое я могу себе составить о ... Точнее мы определим наше местонахождение, сделав необходимые наблюдения.

— Каким образом? — спросил я. — Может быть, вам известно, через какой пункт марсиане проводят свой первый меридиан и который там час теперь?

Уиль не удостоил меня ответом, но вернулся к своей лекции.

— Явно одно, — сказал он, — что мы находимся в пределах какой-то пустыни, по-видимому, весьма далеко от населенных, культурных центров. Ввиду этого наши исследования потребуют значительного времени уже на один переход от этой точки до какого-нибудь города марсиан или чего-либо, что здесь соответствует нашему понятию о городе. Очень возможно, что один такой переход и потребует срока большего, чем те семь суток, которые находятся в нашем распоряжении.

— Позвольте, Уиль, — вставил я, — вы забываете, что мы *⟨на этом текст обрывается⟩*

⟨1920—1921⟩

ГБЛ, ф. 386.35.13, л. 2—18. Автограф. В публикации сохранена авторская нумерация глав. Цифра XVI, вероятно, описка вместо VIII. В архиве имеются еще отдельные наброски, предшествующие данному тексту (ф. 386.35.11—12).

РОМАН ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

(Незавершенный замысел)

Предисловие и публикация Ю. П. Благоволиной

В архиве Брюсова среди многих набросков и незаконченных рукописей прозаических произведений сохранились фрагменты нескольких редакций романа, название которого в сознании автора, по-видимому, окончательно так и не сложилось. Этих названий несколько: «На мировом [рас(путьи)] перепутьи. Роман в четырех частях»; «На мировом перепутьи. Роман из современной жизни»; «Под стеклянным шаром. Записки наблюдателя жизни (нравы предреволюционной поры)»; «Стеклянная башня»; «Стеклянный столп».

Самый поздний вариант заглавия — «Стеклянный столп». Так озаглавлены планы романа, а также самый последний из сохранившихся фрагментов текста.

Время действия первого фрагмента — канун мировой войны (упоминаются «военные приготовления немцев»); в последнем фрагменте это уже «эпоха между двумя войнами и двумя революциями», вторая половина «тягостного десятилетия от седьмого до семнадцатого года»¹. Очевидно, Брюсов начал писать роман не ранее августа 1914 г. и продолжал работать над ним в 1917 г., но не позже, поскольку все сохранившиеся фрагменты написаны по старой орфографии (новая орфография была введена в январе 1918 г., и Брюсов принял ее сразу же). Однако прямых сведений об этой работе или каких-либо определенных упоминаний о ней в переписке Брюсова и в его автобиографических заметках, а также в исследованиях, ему посвященных, нам обнаружить не удалось².

Роман интересен во многих отношениях. По-видимому, он был задуман и частично написан как роман главным образом бытовой, но широкая картина нравов России предреволюционной поры должна была включаться (об этом свидетельствуют и первый, и последний фрагменты) в широкий философский и социально-исторический контекст, смыкаясь с издавна волновавшей Брюсова темой «fin de siècle» — и шире — с проблемой кризиса мировой цивилизации, с проблемой мировой катастрофы.

Первый фрагмент содержит вступление — некую философскую интродукцию, предваряющую начало действия. Это разговор двух «стихийных духов», Алого и Голубого, пролетающих над Землей и уловивших в жизни планеты нечто такое, что предвещает катастрофу, причем это катастрофа не космическая: «Нет никакой кометы в виду, которая могла бы налететь с разбегу и разбить этот ком вдребезги», — говорит Алый. Это и не мировая война, приготовления к которой явственно заметны в Германии: «Военные приготовления немцев не поразили Голубого: кажется, он не это разумел, когда говорил о катастрофе».

Но, очевидно, с темой катастрофы связана возникающая дальше тема преступления: «Я видел: чья-то рука бросила яд в стакан питья, который должен был выпить старик...»

Тут же наступает резкий стилистический слом:

«— Лимончика три молодцу достанется!

— Ну, уж и три миллиона! Преувеличиваете, Марк Маркович!»

Действие переносится в клуб, где идет оживленное обсуждение смерти купца-миллионера, которая во всех сохранившихся редакциях романа составляет его сюжетный центр.

Сюжет романа вкратце таков: отравлен старик, в отравлении подозревают сына, который, однако (читателю это ясно с самого начала), в смерти отца не повинен. Ста-

рика отравила, очевидно, его дочь Анна, которая особенно агрессивно обвиняет брата в убийстве.

На этой сюжетной канве Брюсов разворачивает широкую картину нравов. Одной из самых значительных в авторском замысле становится глава, где обстоятельно излагается история купеческого рода Ходаковых, к которому принадлежат главные персонажи романа ³. Глава эта имеет немало «автобиографического» в своей основе. История семьи Твердых во многом повторяет историю семьи Брюсовых. Это Яков Кузьмич Брюсов, как и Илья Твердый, в 60-е годы «сблизился с кружком студентов, стал читать книжки, учиться, даже сам поступил было в Петровскую академию». Это он, «несмотря на возражения деда», пригласил к сыну гувернанток и учителей, отдал его в гимназию, а затем в университет. И это его волей семья Брюсовых, как и семья Твердых, из «замоскворецких» перешла в «интеллигенцию» ⁴.

Интерес Брюсова к истории своего рода, которая служит для него отправной точкой в создании бытового фона романа, симптоматичен. До сих пор принято было считать, что этот интерес нашел выход в его художественной прозе лишь однажды — в повести «Обручение Даши», которую критика всегда считала явлением как бы случайным и для Брюсова-прозаика нехарактерным. Д. Е. Максимов замечает, что эту реалистическую повесть из жизни людей 60-х годов Брюсов «написал в виде опыта» (Максимов 1969, стр. 198). Повесть действительно представляет собой пробу пера в новой для Брюсова повествовательной реалистической манере.

Этот опыт был продолжен в романе «Стеклянный столп», построенном почти целиком на материале реальных жизненных наблюдений. Например, один из планов романа свидетельствует, что для Брюсова были важны прототипы: рядом с фамилией Медведникова он ставит в скобках добавление «(= Гиришман)», а его молодая жена Гликерия Павловна обозначается как «¹/₂ Генриетты» ⁵ (см. стр. 163). Прообразом кружков, обществ и клубов, подробно описанных в романе, послужил, вероятно, в известной степени Московский литературно-художественный кружок, нравы которого были так близко знакомы Брюсову, многолетнему его председателю (см. настоящ. том, стр. 33) ⁶. Ветхозаветный быт купеческой семьи, знакомый Брюсову с детства, послужил материалом для изображения семейного уклада Ходаковых. В целом же основной картины нравов, нарисованной в романе, является русская действительность 1910-х годов ⁷.

Но если художественная задача «Обручения Даши» былописательством в общем исчерпывалась, то «Стеклянный столп», как уже говорилось, по замыслу гораздо шире. В нем намечены многие проблемы, волновавшие Брюсова-художника: это и угроза мировой катастрофы, и тема «преступления и наказания», и проблема нищевства, данная в упрощенном восприятии героя-подростка, и образ ученого, смелые замыслы которого не могут воплотиться в жизнь из-за неповиновения и отсутствия поддержки окружающих. При этом последний из сохранившихся фрагментов свидетельствует о том, что с годами замысел Брюсова расширился и усложнился: роман нравов превращался в роман социально-исторический, характеризующий «эпоху между двумя войнами и двумя революциями».

Быть может, именно эта многоплановость романа была причиной того, что он остался незавершенным: по-видимому, Брюсову так и не удалось найти единое стилевое решение, в котором воплотилось бы столь разнообразное содержание. «Историческая, повествовательная» ⁸ манера изложения, уместная в главах правоописательных, явно вступала в противоречие с той манерой, в которой написаны главы «психологические» (например, разговор Федора с Анной — см. стр. 147). В тех фрагментах, которые сохранились в архиве, роман стилистически очень разнороден — и не оставляет впечатления органичности и целостности.

Ассоциации, вызываемые романом, уводят нас, с одной стороны, к юношеским тетрадям Брюсова 1880—1890-х годов (например, рассказ «Борьба», где впервые возникает проблема нравственного права незаурядной личности утвердить себя в жизни любой ценой, даже ценой преступления ⁹), а с другой — соприкасаются с проблематикой творчества зрелого Брюсова (например, сборник рассказов «Ночи и дни», с его «попыткой всмотреться в особенности психологии женской души» ¹⁰, и чаще всего души

преступной: драма «Пирозент», где крупный ученый, конструирующий межпланетный корабль, во имя достижения своей цели вынужден идти на преступление ¹¹; повесть «Моцарт», где поставлена проблема нравственной ответственности человека перед окружающими ¹², — и многое другое).

Идейно-художественная проблематика романа может быть осмыслена лишь в контексте всего творчества Брюсова, и сколько-нибудь подробный ее анализ в нашем кратком предисловии не может быть дан. Но введение в научный оборот этого произведения, долгие годы остававшегося вне поля зрения исследователей, есть задача насущно необходимая.

Материалы романа заложены в обложку, на которой рукой И. М. Брюсовой число страниц обозначено как «150 с лишним». Однако налицо только 44 листа, из которых исписано 57 страниц (остальные обороты листов остались чистыми). Но даже если предположить, что И. М. Брюсова считала страницы независимо от того, заполнены они или нет, то и это составит всего 88 страниц. Возможно, что какие-то куски текста были ею кому-то подарены и со временем обнаружатся в частных коллекциях. Но возможно также, что в обложку по ошибке были заложены листы, к роману отношения не имевшие и затем переложенные без соответствующего исправления надписи на обложке.

Сохранилось десять фрагментов, восходящих, как нам кажется, к различным редакциям романа, а также планы и рабочие материалы (родословные таблицы семьи Ходаковых, чертежи расположения комнат в их доме). Первый и два последних фрагмента представляют собой совершенно самостоятельные редакции, и с другими фрагментами автор их никак не соотносит. Остальные семь фрагментов Брюсов, видимо, пытался свести в некий единый текст, каждый из кусков которого соответствует тому или иному пункту плана, образуя в результате определенное сюжетное единство. Однако эта работа не была доведена до конца.

Планы романа сохранились в трех вариантах. Они записаны на одном листе (ГБЛ, ф. 386.35.26, л. 29), и последовательность их определяется по расположению (стр. 163—164). Именно эти планы могут служить до некоторой степени ориентиром в определении последовательности редакций текста.

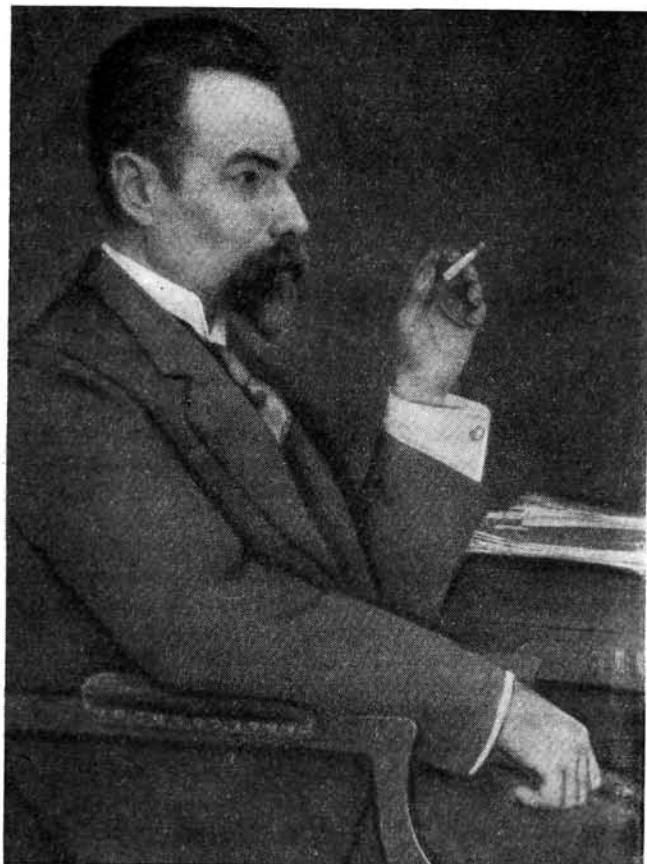
Ниже дается описание всех фрагментов романа, сохранившихся в архиве Брюсова ¹³. Цель описания — установить их хронологическую и сюжетную последовательность, определить их соотношение между собой и проследить, по возможности, развитие авторского замысла от первой редакции к последней.

Фрагмент I. «На мировом [рас<путы>] перепутьи. Роман в четырех частях. Часть первая. Отцеубийца. Глава первая. Три миллиона» (35.37, л. 1—10). Черновой автограф; написан на бумаге, которая появляется в рукописях Брюсова 1910-х годов и к 1915 г. почти совсем исчезает. На бумажной обложке, в которую вложен автограф, — другое заглавие (рукой Брюсова): «На мировом перепутьи. Роман из современной жизни. Часть первая».

Фрагмент представляет законченную первую главу, которая состоит из двух подглав: I и II. Первая содержит беседу двух «стихийных духов» (см. стр. 114), вторая — сцену в ночном клубе, где становится известно о смерти старика-миллионера.

Последующие главы, соотносимые с этим фрагментом, в архиве Брюсова не обнаружены. В свою очередь, первая часть этой главы никак не соотносится с планами романа. Это позволяет считать данный фрагмент началом наиболее ранней редакции. Брюсов приступил к работе над нею не ранее августа 1914 г. (Петербург здесь уже назван Петроградом), однако более вероятно, что эта редакция относится к осени 1915 г., так как обложка, на которой написано второе заглавие, сделана не ранее этого времени (Брюсов использовал для нее лист бумаги из материалов к сборнику «Поэзия Арменин» ¹⁴, над которым начал работать в августе 1915 г.).

Эта редакция представляется нам самой ранней не только потому, что остальные фрагменты написаны на бумаге более позднего происхождения. Она явно предваряет последующую разработку текста. В качестве иллюстрации приведем из *фрагментов I и III* характеристики персонажа, сообщающего в клубе о смерти старика:



БРЮСОВ

Фотография. Москва, 1910-е годы
Мемориальный кабинет Брюсова, Москва

«О трех лимончиках сообщал Тимолкин, господин неопределенных лет, бритый, как актер, в небрежном пиджаке, один из тех людей, которые все и обо всем знают» (Фр. I).

«Петр Петрович Краснов — человек, не знавший в жизни иного дела, кроме карт, но замечательный еще тем, что все, совершающееся в Москве, было ему известно, как дела своего дома. Бывают такие люди, которые со всеми знакомы, осведомлены обо всех отношениях — кто, когда, где и что и, в особенности, с точностью знают, у кого сколько денег в деле, в банке, на текущем счету и чуть ли не в бумажнике, лежащем в левом кармане пиджака» (Фр. III).

«Вторичность», т. е. большая разработанность и стилистическая завершенность фрагмента III не вызывает сомнения.

Таким образом, первая редакция устанавливается довольно точно. Ввиду недостаточной ее разработанности и ввиду того, что Брюсов совсем не использовал ее в дальнейшей работе, эта редакция в данной публикации не воспроизводится.

Фрагмент II. «Глава [VI.] II. 1. Дом Ходаковых делился как бы на две партии ∞ когда произошла катастрофа» (35.26, л. 8—15; стр. 134—140). Черновой автограф с авторской пагинацией листов: «2—8» (первый лист не нумерован).

Зачеркнутая цифра «VI» свидетельствует, что глава была написана в соответствии с первым вариантом плана и, следовательно, относится к одной из ранних редакций — по всей вероятности, ко второй. Авторская пагинация позволяет предположить, что эту

главу, особенно занимавшую его внимание, Брюсов написал раньше предыдущих (иначе нумерация листов была бы продолжающейся), и вполне возможно, что главы I—V этой редакции вообще не были написаны. Затем Брюсов решил писать роман в соответствии с третьим вариантом плана («Глава II. 1. Дом Ходаковых») и включил в него написанный фрагмент уже как первый раздел главы II.

Фрагмент III. «Было рано; большая игра еще не начиналась ∞ Идеже несть страсти, печали и вздыхания, но жизнь вечная...» (35.26, л. 1—7; стр. 121—133). Черновой автограф с авторской нумерацией страниц: «103—116». Начиная с л. 2 об., в тексте обозначены номера разделов — «3», «4», «5», «6». Первые страницы, по-видимому, утеряны, так как раздел первый и начало второго отсутствуют.

Этот фрагмент соответствует построению первой главы по третьему варианту плана. Отсутствием является только указание на предполагавшийся, но, видимо, не написанный раздел седьмой (цифра «7» в конце последнего листа).

Авторская нумерация страниц этого фрагмента является загадкой. Предположить, что утерянное начало растянулось на 100 страниц, тогда как остальной текст занимает всего 14 страниц, невозможно. Кроме того, ни в одном из вариантов плана нет темы, разработка которой потребовала бы такого объема. Возможно, что со временем обнаружатся какие-то новые фрагменты, которые помогут разрешить эту загадку.

Можно полагать, что этот фрагмент является началом (главой I) еще одной — третьей редакции романа. К ней были присоединены: *фрагмент II* (в качестве первого раздела главы II) и ряд последующих *фрагментов (IV—VII)*.

Фрагмент IV. «Глава (номер не указан.— Ю. Б.). Федор Васильевич предпочитал не держать постоянного лакея ∞ Лицо Кромчеделова выразило такое» (35.26, л. 16—17; стр. 141—142). Черновой автограф с авторской пагинацией («9—10»), продолжающей нумерацию страниц *фрагмента II*. Глава не закончена — текст обрывается на половине фразы, лист до конца не дописан.

По содержанию продолжает *фрагмент II* и соответствует первому варианту плана («VII. Панихида <...>») и третьему («Глава II <...> 2. Панихида»). Судя по бумаге, цвету чернил и нумерации страниц, относится к той же второй редакции, что и *фрагмент II*.

Следующие четыре фрагмента (V—VII) носят разрозненный характер и установить их принадлежность к какой-либо определенной редакции и последовательность их создания не представляется возможным.

Фрагмент V. «Х. Федор не мог выносить долее этой нравственной пытки ∞ «чуткая цензура» быстро стесняла «в журнальных выходках балагура» (35.26, л. 18—19; стр. 142—147). Черновой автограф с авторской нумерацией страниц: «11—13».

Соответствует первому варианту плана («Глава VII <...> В саду: Фео и Ани») и третьему («Глава II <...> 4. Леонид и (его друг) Вадим»), но лишь отчасти: действие происходит в саду, однако вторым действующим лицом является не Анна, а Ирина; затем следует беседа не двух, а трех приятелей. Нумерация глав («X», «XI», «XII») не соответствует ни планам романа, ни другим фрагментам; глава XII не завершена.

Фрагмент VI. «В невольном порыве он обнял ее и поцеловал ∞ Хотелось поскорее ото всех спрятаться, броситься на кушетку, закрыть глаза и не думать ни об чем, позабыть события последних суток» (35.26, л. 22—23; стр. 147—150). Черновой автограф с авторской нумерацией страниц: «12-I—12-IV».

По содержанию соответствует всем трем вариантам плана (гл. VII — в первом, гл. III — во втором, гл. II, раздел 3 — в третьем).

По-видимому, эти страницы, изъятые из неизвестного нам текста, были предназначены для вставки в *фрагмент V* (на стр. 12 по авторской пагинации). Это соответствует общей логике развития сюжета, однако в тексте *фрагмента V* нет места, куда такая вставка могла бы войти органически.

Фрагмент VII. «В каждой газете читались более или менее сенсационные заголовки ∞ опутывая Федора какой-то сетью низких подозрений и намеков...» (35.26, л. 20—21; стр. 151—155). Черновой автограф с авторской пагинацией: «14—17».

По этой пагинации и по содержанию примыкает к *фрагменту V*, однако не является его продолжением, т. к. написан на другой бумаге.

Фрагмент VIII. «Дома Федор почувствовал такую духовную усталость ∞ Она говорила, она» (35.26, л. 24—25). Черновой автограф с авторской пагинацией: «а1 — а4». Текст обрывается на полупhrase.

Содержит сцену ночного свидания Федора с Ириной, во всех вариантах плана отсутствующую. Ни в один из сохранившихся фрагментов эта сцена не вписывается и, по-видимому, предназначалась (судя по авторской пагинации) для вставки в какой-то несохранившийся фрагмент. Ввиду его обособленности, *фрагмент VIII* в настоящей публикации не воспроизводится.

Фрагмент IX. «Под стеклянным шаром. Записки наблюдателя жизни (нравы пред-революционной перы)» (35.26, л. 27—34 об.; стр. 155—161). Беловой автограф. Представляет собой совершенно самостоятельную редакцию начала романа, написанную в форме дневника одного из родственников Ходакова. Судя по заглавию, Брюсов работал над ней в 1917 г.

Прямого соответствия планам эта редакция не имеет, но общая схема сюжета остается прежней (известие о смерти Ходакова и подозрения в убийстве, падающие на его сына), а сцена на панихиде, когда одна из дам не желает подать руки Федору, почти полностью аналогична соответствующей сцене из *фрагмента III*. На этой сцене *фрагмент IX* обрывается, но лист до конца не дописан и можно полагать, что продолжения просто не было.

Фрагмент X. «[Стеклянн[ая]ый [башня] столп. Часть первая. Глава I» (35.26, л. 35—36; стр. 161—163). Беловой автограф; вторая страница не дописана.

Представляет собой самостоятельную редакцию начала романа — вступление, рисующее картину безвременья в эпоху «между двумя войнами и двумя революциями». Судя по содержанию, Брюсов работал над этим фрагментом в 1917 г.

Таким образом, устанавливается предположительно наличие не менее пяти редакций романа, которые, по всей вероятности, имеют такую последовательность:

Первая редакция — *фрагмент I*.

Вторая редакция — *фрагмент II и IV*.

Третья редакция — *фрагмент III*.

Четвертая редакция — *фрагмент IX*.

Пятая редакция — *фрагмент X*.

Кроме того, мы располагаем тремя разрозненными *фрагментами (V—VII)*, сюжетно развивающими третью редакцию, в которую автор, по-видимому, намеревался их включить. К ней, вероятно, предполагалось присоединить и фрагменты второй редакции (II и IV), также сюжетно с ней связанные.

Таким образом, *фрагменты III, II и IV—VII* связаны единым замыслом и общим сюжетным развитием. Этим мы и руководствовались, устанавливая последовательность их публикации. *Фрагменты IX и X*, относящиеся к более поздним редакциям, публикуются в конце. *Фрагменты I и VIII*, как уже было сказано, в публикацию не включены.

Роман не только не закончен, но не отделан даже внутри каждой из самостоятельных редакций. Так, например, старик Ходаков первые три раза назван Ходотовым, и эта ошибка не исправлена Брюсовым, т. е. на одном листе (35.26, л. 1—1 об.) герой назван двумя разными фамилиями. Мать Ирины в двух соседствующих абзацах названа сначала Ксенией, а потом Евгенией (л. 11) — и это тоже оставлено без исправления. Таких примеров множество (Людмила называется Генриеттой, Грабовецкий вдруг неожиданно для читателя становится Грабовским, Анна — Еленой и т. п.). Все эти несообразности в публикации сохраняются и никак не оговариваются, ибо черновой, «предварительный» характер текста публикуемого романа самоочевиден и в излишних назойливых оговорках, на наш взгляд, не нуждается.

Большая часть текста представляет собой черновой автограф и прочитывается с трудом. Слова, как это обычно бывает в черновиках Брюсова, сокращены, не дописаны, зачеркнуты, вписаны между строк и т. п.

Исчерпывающего воспроизведения стилистических особенностей автографа наша публикация не дает. Из зачеркиваний восстанавливаются и приводятся под строкой лишь те, которые несут в себе оттенок смысла, в результате правки исчезнувший. На-

пример, во фразе: «Краснов невольно как-то съезжился. но не потерял апломба [т. к. был не труслив] и возразил насмешливо», — слова «т. к. был не труслив» зачеркнуты Брюсовым и приводятся в публикации под строкой. Но далее в той же фразе глагол был повторен трижды: «[и возразил] [спросил] и возразил». Из этих трех глаголов оставлен только третий, не зачеркнутый. Если из двух синонимов один, зачеркнутый, как-то экспрессивно окрашен («почему вы так [вспетушились] вскинулись?»), он приводится под строкой, если же стилистически нейтрален, он, как правило, опускается и наличие его в авторском тексте никак не оговаривается. Например, в предложении: «это не мешало им [официально] формально даже не быть представленными друг другу», — слово «официально» опущено без всяких оговорок.

Недописанные части слова заключаются в ломаные скобки только в том случае, если в точности конъектуры мы сомневаемся. Если же в точном прочтении слова сомнений не возникает, оно дописывается без всяких оговорок. Например, в предложении: «Краснов сообщ(ал) известие сенсационное, наст(олько) пораз(ительное), что многие из др(угих) групп, услышав его слова, поспешили подойти поближе» — ломаные скобки сохраняются только в слове «сообщал», так как возможно и прочтение «сообщил». Точно так же и с фамилиями. Пока старик Ходаков назывался Ходотовым, фамилия его раскрывается с ломаными скобками: Ход(отов). Но как только он стал единообразно по всему тексту именоваться Ходаков, то и дописываться его фамилия стала уже без всяких указаний на неполное написание слова.

Явные опiski автора исправлены в тексте без оговорок. Текст публикуется по правилам современной орфографии и пунктуации.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ См. наст. том, стр. 161. Далее ссылки на страницы нашей публикации даются в тексте предисловия без указания на источник.

² В письмах Брюсова к жене за 1915 г. (ГБЛ, ф. 386.142.19—20; 69.7—8) и в «Дневнике поэта» (1917 г.; см. наст. том, стр. 29) есть упоминания о работе над романом, название которого не указано. В 1910-е годы Брюсов работал также над романом «Юпитер поверженный». Установить, к какому из этих романов относятся эти упоминания, не представляется возможным.

³ Эту главу Брюсов обдумывал особенно тщательно, о чем свидетельствуют подготовительные материалы к роману: подробнейшие родословные таблицы семьи Ходаковых и детально вычерченные планы расположения комнат в их доме (см. наст. том, стр. 133, 139).

⁴ Интересные архивные материалы, раскрывающие историю купеческой семьи Брюсовых, переданы сестрой В. Я. Брюсова Е. Я. Калужной в ГБЛ.

⁵ Т. е. Генриетта Леопольдовна *Гиришман* (см. о ней наст. том, стр. 34)

⁶ «Общество телескопов» тоже имеет свой «прототип» — московское «Общество аквариума и комнатных растений».

⁷ Об эволюции эстетических взглядов Брюсова 1910-х годов, приведшей к утверждению, что «начало всякого искусства — наблюдение действительности», — см.: *Максимов 1969*, стр. 187—189 и далее.

⁸ На полях первой страницы главы, посвященной истории рода Ходаковых, рукой Брюсова написано: «Изложить исторически, повествовательно» (ГБЛ, ф. 386.35.26, л. 8).

⁹ Этот рассказ и ряд других юношеских набросков Брюсова интересны не только как истоки темы преступления и наказания в творчестве писателя, но и как прямые «прототипы» отроческих сочинений («мальчишеских глупостей») героя романа — Федора Ходакова, которые служат для его сестры основным аргументом в доказательстве его виновности (см. стр. 147): «Яд! У меня есть добойя, есть кураре, есть синильная кислота, — рассуждает, например, герой рассказа «Борьба». — (...) Как жалки, смешны люди со своими угрызениями совести! Чувствовать что-нибудь подобное я не могу (...) Счастья не вырвать у меня из рук. Дядя умер, и оно мое!..» (ГБЛ, ф. 386.126.1).

¹⁰ Валерий Брюсов. Ночи и дни. М., 1913. Предисловие.

¹¹ ГБЛ, ф. 386. 29. 1—9.

¹² ГБЛ, ф. 386. 35. 5—9.

¹³ ГБЛ, ф. 386. 35. 26 и 35. 37. Далее ссылки на этот источник даются в тексте статьи, при этом первая часть шифра (ГБЛ, ф. 386) опускается.

¹⁴ На обороте обложки — машинописный заголовок: «Ануш. Поэма Туманяна».

*Было рано; большая игра еще не начиналась. Устав Собрания разрешал играть без «штрафа», уплатив лишь по 3 р. за «карты», с 8 часов вечера до 2 часов ночи. После следовал, согласно с «нормальным уставом» всех клубов, штраф за каждые $\frac{1}{2}$ часа, в 30 к., 90 к., 1 р. 20 к. и т. д., заканчиваясь штрафом в 38 р. 10 к. для уходящих из игорных зал после 6 часов утра... Словно в насмешку над этими правилами, игроки редко садились за «круглые столы» раньше полночи, «большая игра», игра с «пулькой», большей частью, начиналась лишь около 2, перед самым началом уже штрафного времени, и завсегдатаи Общества, каждый, ежедневно, уходя, платил — или оставался должен кассе — свою привычную дань: четыре десятирублевых бумажки, требовать сдачи с которых считалось неприлично... Неудивительно, что доход Общества редко был меньше <?> 2—3 тысячи рублей в день, и четыре главных «старшины» — в сущности, содержатели притона — весело потирая руки, тоже ежедневно клали в карман несколько сотенных бумажек и, со вздохом, оставляли остальное на необходимые расходы.

В начале первого был занят только один круглый стол, за которым разместились преимущественно дамы. Тут шла мелкая «серебряная» игра, т. е. не брезгали ставками и монетою <не> золотую, меньше 5 р. Обороты здесь ограничивались десятками рублей, и выигрыш в несколько сот составлял событие. В гостиних играли в винт и в преферанс, кто «по маленькой», а кто и по столу «крупной» и с такими условиями игры — разными «винтами», «гайками», «скачками» <?> «разнищами» <?> и тому подобным, что она, в сущности, ничем не отличалась от любой азартной. Но крупные игроки в железку, гнушаясь «серебряного стола», пренебрегали и коммерческими играми, в которые результата надо было ждать слишком долго, а поджидали своих обычных партнеров, чтобы составить «золотой стол» и стол «с пулей», где закладывали в банк тысячи и где, при удаче, в несколько минут можно было загрести десят<ки> тысяч, а за ночь выиграть целое состояние. В ожидании этого рыцарского зеленого поля вели свои беседы; «Общество Люб<ителей>» было не только игорным домом: оно, д<ействительно>, выполняло и функции клуба, так как здесь сходились все темные дельцы Москвы, чтобы узнать друг от друга новости дня, и все московские «дисконтеры», как они сами себя именовали, или «биржевые зайцы» и «биржевые волки», как их называли другие, чтобы подготовить «кулису» завтрашней биржи.

Одна группа оживленно обсуждала последние котировки, и там слышались привычные восклицания: «Нобель», «Сормово», «дают», «берут», «валяются», «на повышение» и т. д. В другой группе, чуть не шопотом, совещались трое сомнительного вида мужчин, которые явно не желали, чтобы кто-нибудь расслышал их конфиденциаль<ные> сообщени<я>. В третьей, самой многочисленной группе, ораторствовал громко один из самых рьяных <?> игроков, Петр Петрович Краснов — человек, не знавший в жизни иного дела, кроме карт, но замечательный еще тем, что всё, совершающееся в Москве, было ему известно, как дела своего дома. Бывают такие люди, которые со всеми знакомы, осведомлены обо всех отношениях — кто, когда, где и что, и, в особенности, с точностью знают, у кого сколько денег в деле, в банке, на текущем счету и чуть ли не в бумажнике, лежащем сегодня в левом кармане пиджака.

Краснов сообщ<ал> известие сенсационное, настолько поразительное, что многие из других групп, услышав его слова, поспешили подойти ближе. Один из таких любопытствующих даже переспросил:

— Ходотов умер? Василий Тимофеевич?

— Да, господа! — подтвердил всезнающий Петр Петрович, — умер Василий Тимофеевич Ходотов, скоропостижно, часа два тому назад.

— Но это же невероятно <?>, — возразил подошедший, — я сегодня имел с ним дело (в этих словах был оттенок хвастовства, ибо лестно иметь дело с архимиллионером), в два часа дня старик был совершенно здоров, крепок, как дуб. Я думал, он нас с вами переживет.

— В два часа был крепок, как дуб, — ответил Краснов, — вечером пообедал, потом имел беседу с сыном, Федором Васильевичем, разгневался, разволновался, слег и в 11 часов ночи отдал богу душу.

Окружающие восклицаниями выражали свое изумление.

— Экое дерево рухнуло, — сказал кто-то, — у старика давно за 5 миллионов перевалило.

— Извините-с, — поправил <?> Краснов, — наличного капитала у Ход<о>това >свыше шести миллионов, в деле основного капитала миллион двести имел; фабрик<а> с землей, со всеми машинами — minimum полтора миллиона; товару с моск<ов>ских> складов <?>, по последнему счету, на четыреста тысяч; дом в Таганке, по нашим <?> ценам, не считая мебели и всей рухляди, мало-мало двести пятьдесят тысяч; да тысяч пятьдесят — дача в Сокольниках. Вот и складывайте.

— Вы насчитали, — быстро <?> сложил один еврей, — вы насчитали девять миллионов четыреста тысяч.

— Я еще много пропустил. < 1 нрзб> десять миллионов и то будет ниже действительности.

Наступила пауза, — словно цифра в 10.000.000 подавила всех своей громадностью.

— Отчего же он умер? — деловито спросил кто-то.

Краснов без малейшего промедления мог удовлетворить любопытство.

— Сегодня у него обедал сын, Федор Васильевич. Вы знаете, что Ходаков в ссоре с сыном; тот живет отдельно, но все же бывает в отцовском доме и иногда обедает с семьей. Сегодня после обеда старик позвал Федора к себе в кабинет. Им туда подали кофе, так как старик, хотя был и ветхозаветных правил, но к кофею пристрастился. За кофе старик стал что-то сыну доказывать; тот не соглашался. Вышла ссора. Старик начал кричать: «А коли так, с глаз долой, вон из дома и лишаю тебя наследства!» Федор взял шляпу и ушел. А старик залпом проглотил чашку кофе, чтобы успокоиться, сразу почувствовал себя плохо и слег. Началась рвота, и к ночи, только что <?>, старика не стало.

— Позвольте! Ведь это же черт знает что вы говорите!

Эти слова были произнесены так резко, что все невольно оглянулись: говорил один из завсегдатаев Собраний, молодой человек неопределенной профессии, Владислав Грабовецкий. В Собрании необычным явлением был голос искреннего негодования; все так привыкли спокойно выслушивать любые гнусности и инсинуации, что теперь смотрели <на> Грабовецкого с истинным изумлением. Краснов невольно как-то съежился, но не потерял апломба* и возразил насмешливо:**

— А позвольте вас спросить, почему вы так*** вскинулись? Я, знаете, не привык к подобным замечаниям.

— Да вы понимаете, что вы говорите?

— Во-первых, я даже не имею чести быть с вами знаком и обращался не к вам...

Краснов и Грабовецкий много вечеров играли за одним столом, но это не мешало им формально действительно не быть представленными друг другу.

* Далее зачеркнуто: т. к. был не труслив

** Далее зачеркнуто: — Что же, собственно <?> вас так изумило, что вы

*** Далее зачеркнуто: вспугнулись

— Мне все равно, к кому вы обращались,— не понижая тона продолжал Грабовецкий,— а только в ваших словах есть клевета. Вы обвиняете молодого Ход(акова) не более не менее как в том, что он мог отравить отца! Я лично знаком с Федором Васильевичем и не позволю инсинуировать на его счет в моем присутствии.

Краснов хорошо владел собою, как и должно всем игрокам, и потому, не волнуясь (?), но твердо отвечал:

— Никого ни в чем я не обвиняю и обвинять не имею ни права, ни оснований. Передавал я то, что мне самому рассказывали. А вас я попрошу взять ваши слова обратно-с. Я не позволю говорить с собой в таком тоне.

Началась ссора. Присутствующие вмешались, спеша ее потушить. Уже на месте события был «дежурный старшина», юркий и изворотливый Устимович, который перебегал от одного из противников к другому, убеждая их успокоиться. Всякий скандал в благородном собрании угрожал самому его бытию, и первой задачей дежурного старшины было погасить всякие недоразумения в самом их зародыше.

На этот раз дело оказалось труднее, чем обыкновенно. Краснов требовал непременно, чтобы Грабовецкий извинился за свои выражения; поляк и слышать об этом не хотел. Наконец, Устимовичу удалось увлечь их за собой в кабинет дежурного старшины, где (он) продолж(ал) свои великодушные старания примирить ссорящихся. Между тем оставшиеся продолжали вполголоса обсуждать и инцидент, и известие, привезенное Красновым. Кончина старика-миллионера была огромным событием в жизни Москвы. Все знали или лично Ходакова или, по крайней мере, его дело. Говорили тоже о Федоре Васильевиче и о странном подозрении, брошенном Красновым. Однако скоро (?) [подъехали новые] посетители, стали составляться «столы», и скоро все позабыл(ось) за жутким волнением игры, и слышались только иератические восклицания:

— Даю! — Своя! — En carte! — D'emblée! — Получите!..

3

В кабинете дежурного старшины, как и ожидал многоопытный "Устимович, противники быстро пошли на уступки. Краснов согласился признать, что неосторожно передавал непроверенные слухи, а Грабовецкий после того выразил что-то вроде извинения или сожаления в резкости своих слов. Устимович разорвал «протокол», который для вида начал было составлять, и «дело» было покончено. Краснов и Грабовецкий не подали друг другу руки, но это, конечно, не помешало бы им тут же сесть за тот же стол,— таких примеров бывало достаточно,— если бы молодой поляк тотчас по окончании переговоров не уехал из Собрания. Грабовецкий внезапно решил разыскать Федора Ходакова, так как действительно был с ним знаком,— познакомились в те дни, года три назад, когда Федор был усердным посетителем всяких кабаков и притонов.

Поспешно выйдя из подъезда с электрической дыней, Грабовецкий кликнул «своего» извозчика, лихо подкатившего к крыльцу и словно заправский кучер спросившего, сняв шапку:

— Куда прикажете, ваше сиятельство?

Грабовецкий знал, где разыскать Федора: в этот день было заседание Общества любителей телескопов, которое усердно посещал молодой Ходаков. Гнедой мерин тряхнул хвостом и полетел по пустеющим улицам, обдавая фонтаном грязи неосторожных прохожих. «Чтой-то там не бывали допрежь,— соображал лихач, обдумывая адрес, который ему назвал

* На карту! Сразу! (франц.).

Грабовецкий*, — или там новое заведение открылось, или мой новую себе сударышню нашел: разведем!»

В Собрании тем временем игра разгоралась; ставки росли; одни игроки бледнели, вынимая последние пятисотенные, другие с трудом подавляли выражение ликования, запихивая по всем карманам пачки крупных кредиток. Однако каждому вновь прибывающему, который временно становился сзади играющих, чтобы «мазать» «со стороны», шопотом сообщалось о смерти старика Ходакова. Скоро «вся Москва», по крайней мере ** биржевая, знала о событии, и завтрашним газетам предстояло сообщить уже устарелое известие.

Был, однако, один человек, весьма близко стоявший к событию, который об нем совершенно не был осведомлен, и это — сам Фе[о]дор Васильевич Ходаков. Он, действительно, обедал в тот день в старом отцовском доме, на Таганке, из которого ушел часа полтора назад, и, действительно, имел тяжелую сцену с отцом. Спор шел по тому самому вопросу, который разделил отца с сыном. Стар<ик> Ходаков, наживший миллионы своими мануфактурами, желал передать фабрики и все дело единственному сыну Федору***, но Федор чувствовал неодолимое отвращение ко всякой коммерции. Разные обстоятельства, о которых еще будет сказано потом, сделали так, что Федор получил прекрасное образование, кончил курс Университета по математическому отделению, побывал за границей, учился в Лейпциге**** и с наивным энтузиазмом молодости увлекался астрономией. По мнению Федора, 10 миллионов отца было более чем достаточно для того, чтобы и он, и отец, и вся их семья могли доживать свой век в полном довольстве. Поэтому Федор упрямо отказывался принять наследство отца, предлагал дело ликвидировать и просил, чтобы отец позволил ему на досуге отдаться своему любимому делу. Дело же это было какое-то фантастическое изобретение, о котором никто в точности не знал ничего определенного, но которое сам Федор считал не менее важным для человечества, чем открытия Коперника и Колумба. Молодость не рассуждает, молодость упорна и отважна; да Феодор вдобавок наследовал крутой нрав всех Ходаковых. Другой на месте Феодора ради перспективы в 10.000.000, в<ероятно>, уступил бы отцу, принял бы для видимости дело, тем более, что старику Ходакову было уже за 70 и жить ему оставалось во всяком случае не так долго. Но Федор поставил вопрос ребром: «Не могу и не хочу заниматься вашим делом, папаша, я неспособен к нему, все равно все погублю!» Отец сначала (?) <2 нрзб>, потом пришел в ярость, грозил лишить сына наследства, передать все своему старшему приказчику, продвинутому малому Сусурову; Федор ушел из отцовского дома, поселился отдельно, получая, однако, от отца по тысяче рублей в месяц и бывая в старом Таганском доме. Но отношения все напрягались, ссоры с отцом становились всё жесточе, и, наконец, разразилась катастрофа. Стар<ик> Ходаков окончательно вышел из себя, почти (?) форменно выгнал Федора и кричал ему вслед:

— Нет у меня больше сына! Чтоб ноги твоей здесь не было! Всё раздам по монастырям! Копейки не получишь! Вон!

Федор выбежал на улицу подавленный. Несколько минут он колебался, не вернуться ли, не уступить ли... Но гордость превозмогла. Тряхнув головой, он зашагал прочь и был в таком волнении, что не заметил, как пешком прошел весь не близкий путь от Таганки до своей квартиры в Малом Кисельном. Только у подъезда дома, где он жил, Федор несколько

* Далее зачеркнуто: али

** Далее зачеркнуто: деловая

*** Далее зачеркнуто: А Федор воспитанный в новом

**** Над словом «Лейпциг» знак вопроса, поставленный Брюсовым.

Г. Л. ГИРШМАН

Рисунок В. А. Серова. Карандаш.
1900-е годы

Третьяковская галерея, Москва

В плане романа против имени
Гликерии Медведниковой (в тексте
она — Людмила Бучугина) помета
Брюсова: «1/2 Генриетты»



опомнился. Было еще рано, часов 8 вечера; Федор вспомнил, что за ним хотел заехать один из его приятелей, Чиличенко, чтобы ехать вместе на заседание Общества телескопов. Но Федору не хотелось пока видеть никого; крадучись, пробрался он к себе, наскоро переоделся и опять выбежал на улицу, оставив извинительную записку для своего друга.

И потом часа два* Федор продолжал бесцельно бродить по улицам, обдумывая свое положение. Зажигались вечерние фонари и ночные звезды в небе, быстро проносились трамваи, обдавая синим блеском, яростно вонзали белые огни авто, вырывавшиеся с неимоверной быстротой, чтобы вдруг исчезнуть, катили экипажи, шли пешеходы, порой бульварные феи окликались робко: «Мужчина! Пойдемте?» — Феодор ничего не замечал, он шел по каким-то улицам и переулкам, доходил до застав, поворачивал назад, останавливался у блестящих витрин, иногда садился на скамейки в сквере; душа была подавлена; мысль отказаться от богатства отца угнетала его, но уступить не было сил. В общем в душе была горечь, злоба, не то раскаянье, не то желание мести, то нестерпимо-тоскливое чувство, которое сопровождает нас, когда мы соверш(аем) поступ(ок) непоправим(ый)... Федор с удовольствием не пошел бы на собрание Общества, так как видеть людей ему было нестерпимо; но пойти было необходимо, так как в этот вечер он назначил там свидание с той, кого Федор любил или кого, как ему казалось, что он любил: с Людмилой Павловной** Бучугиной, котор(ая) не даром считал(ась) «первой красавицей» Москвы, по крайней мере в кругах haute bourgeoisie. Федор знал, что Людмиле нелегко будет добиться от своего мужа разрешения приехать в Общество, и потому на это свидание прийти было необходимо...

Федор посмотрел на часы: было ровно 11 — самое время идти в Собра-

* Далее зачеркнуто: или три

** Далее зачеркнуто: Хренниковой

ние. Сделав над собой усилие, подавив волнение, Феодор направился на Неглинную, где Общество телескопов снимало роскошную квартиру для своих аквариумов и для своих вечеров.

4 *

Федор не ошибался, когда думал, что Людмиле будет не легко попасть на назначенное свидание.

В то время как Федор Ходаков бесцельно бродил по улицам, Кирилл Кузьмич** Бучугин, муж Людмилы, имел конфиденциальную беседу со своим шофером. Хренников сидел в своем кабинете, выдержанном строго в стиле епρίге (так как в доме каждая комната была словно лавкой антиквара), за великолепным столом красного дерева с бронзовыми веночками, а шофер почтительно стоял у порога и тихим голосом делал свой обычный, каждодневный доклад. Кирилл Кузьмич время от времени сурово окидывал говорящего взглядом разгневанной рыбы и лаконически подталкивал его одним словом:

— Потом?

— А потом, Кирилл Владимирович (Бучугин каждый раз как-то морщился, когда шофер называл его по имени-отчеству), барыня изволили мне сказать: «Ты, мол, отправляйся домой, а я хочу погулять пешком».

— Потом?

— Что ж я мог сделать, сами понимаете, ежели барыня мне приказывают...

— Дурак! Сколько раз я вам говорил, что вы не должны оставлять барыню одну!..

Спохватившись, Бучугин добавил:

— Мало ли что может случиться на улице! Вы всегда должны быть поблизости, на всякий случай.

— Я, Кирилл Кузьмич, помню, что вы мне приказывали, и повел машину за барыней, тихим ходом. Но Людмила Павловна изволили заметить, раскричались: Ты что, следить за мной вздумал!— и опять приказали ехать домой.

— Вы поехали?

— А как же-с?

Бучугин даже встал и сделал несколько шагов по комнате. Ему было 50 лет, и ревность, неистовая, слепящая, лишаящая здравого ума, грызла его душу к молодой жене, первой московской красавице, откровенно «купленной» в бедной семье за солидный куш денег. Помолчав, Бучугин отрывисто спросил:

— Долго гуляла барыня?

— Нет-с, только что я доехал до дома, как они уже пешком дошли, почти одновременно со мной, Кирилл Кузьмич.

В этом было некоторое облегчение. После новой паузы Бучугин <1 нрзб>.

— Я поговорю сам с барыней. А вам я еще раз повторяю: вы не имеете права оставлять барыню одну. Я полагаюсь на то, что близ нее всегда находится верный человек, а вы бросаете ее одну на улице.

Шофер поклонился; у него было англазованное лицо и ***выдержка не то**** старого, дворецкого, не то ***** метр д'отеля, но загорелое и обветренное. Глядя прямо в упор на хозяина, он заявил:

* Рядом с цифрой «4» помета Брюсова: «глава неудачная, переделать!»

** Далее зачеркнуто: Хренников

*** Далее зачеркнуто: манеры

**** Далее зачеркнуто: жокея

***** Далее зачеркнуто: английского

— Слушаю-с, Кирилл Кузьмич. Только так как это мою службу увеличивает, дозволейте просить вас увеличить мой оклад-с. Иначе я не могу.

Сказано это было со всей внешней почтительностью, но с последней внутренней наглостью. Смысл слов был ясен: «Ты хочешь, чтобы я служил у тебя шпионом за женой? Согласен, но заплати за это!»

Бучугин был человек дела. Своего шофера он понял сразу и не стал тратить слов даром, еще раз оглядел англизованного юношу и потом бросил кратко:

— Сколько?

— Полтораста, Кирилл Кузьмич.

— Будете получать сто двадцать пять.

— Не могу, Кирилл Кузьмич.

— Вы желаете получить расчет?

Шофер в свою очередь измерил глазами Бучугина, понял, что тот не уступит, и поклонился.

— Слушаю-с, Кирилл Кузьмич, как вам будет угодно.

— Завтра получите новую расчетную книжку.

У Бучугиных все, и лакеи, и горничные, и повара, служили по книжкам и получали жалованье в конторе под расписку; были даже особые книги для выдачи сахара, кофе, вина и т. д. — целая домашняя бухгалтерия.

Знаком головы Бучугин дал понять, что аудиенция кончена. Шофер выскользнул из дверей кабинета, оставив хозяина под гнетом мрачных дум. В такую неподходящую минуту и попала к нему Людмила — просить позволения ехать на заседание Общества телескопов.

Без разрешения мужа Людмила не могла ступить ни шагу. Бучугин изобрел оригинальный способ отнять у жены все пути к измене: он не давал ей буквально ни копейки денег.

— На что тебе деньги, милочка? — уверял он, — у тебя всё есть. Если ты хочешь что-либо купить, заезжай в магазин, выбери вещь и прикажи прислать счет в контору. Можешь покупать, что хочешь, но все счета должны проходить через мои руки.

В этом пункте Бучугин был неумолим, и Людмиле пришлось подчиниться. Жена миллионера, она не могла бы подать нищему даже грош. В редкие дни, когда ей позволял(ось) выехать из дома без мужа, это создавало тысячу мелких неприятностей.

Просьбу жены Бучугин встретил более чем враждебно.

— Ты знаешь, милочка, мои взгляды, — заявил он, — я считаю, что женщине неприлично выезжать одной.

— Но за мной заедет тетка Фаина Ефимовна...

— Ах, твоя тетка! Она до сих пор мечтает о женихах и на тебя не обращает никакого внимания.

— Да разве за мной надо присматривать, как за младенцем? Ведь это только для соблюдения конвенансов.

— И что тебе делать на этом собрании?

— Помилуй! Я целую неделю сижу дома! Ты всегда занят, мы никуда не выезжаем.

— Ты знаешь, я болен, милочка. Но еще в понедельник мы были в опере.

Начался торг. Людмиле очень не хотелось пускать в ход силы женского кокетства (?), но более не оставалось ничего делать. Пришлось сделать ласковое лицо, поцеловать выцветшие усы мужа, назвать его «Кирюшей», намеком что-то пообещать ему... Людмила редко прибегала к таким средствам, так как пока они действовали неодолимо и должно было беречь их силу. Против таких соблазнов Кирилл Кузьмич не устоял и на этот раз, Людмила получила разрешение ехать с теткой на собрание, с тем, однако, чтобы непременно раньше 12 быть дома. Условие было поставлено формаль-

но, и Людмила знала по горькому опыту, к каким неприятностям повело бы неисполнение его.

Людмила еще раз поцеловала рыбы глаза своего Кирюши и выпорхнула (?) из кабинета, чтобы одеться в подходящий случаю туалет. Бучугин остался один, по-прежнему раздраженный. Доктор решительно запретил ему выезжать, и он, дорожа своим здоровьем, был бессилен. Утешала его только мысль, что каждый шаг жены будет под надзором: от дому до Общества и обратно — шофер, в самом собрании — тетка Фаина, которая тоже давала свои отчеты Кириллу Кузьмичу, за что и получала на рождество, на пасху и в свои именины бонбоньерку конфет со вложенным в нее пятисотрублевым билетом. В наши дни все оплачивается: хочешь, чтобы тебе служили, — плати.

5

Общество любителей телескопов было посвящено не изучению звездного пространства, как можно было бы подумать по его названию, а разведению тех * очаровательно-чудовищно-восхитительно-безобразных рыб, которые носят то же наименование, как и прибор астрономов. Кажется, этот невольный каламбур и завел в число членов Общества Федора Васильевича Ходакова, страстного астронома, который способен был целые ночи просиживать, прильнув к стеклу своего телескопа, или в университетской обсерватории, разглядывая в зеркало восходящую зарю Сириуса. Здесь, на собраниях этого Общества, Федор познакомился и с Людмиллой, так как Бучугин считал долгом следить за модой и, кроме старинной мебели, увлекался также орхидеями и рыбами-телескопами.

Состав членов Общества был самый изысканный. Высшая буржуазия, московские богачи второго поколения, которых уже не удовлетворяло битие зеркал по ресторанам, любимое развлечение их отцов и дедов, блазированные юноши, которые <1 нрзб> утонченно рисоваться своим пристрастием к редким сортам водяных чудищ, наконец, скужающие дамы, которым надоела забава благотворительности, а затем небольшое число истинных любителей ихтиологии, профессоров и дилетантов, — таковы были обычные посетители вечеров Общества. Собиралось оно в собственном помещении, так как было достаточно для того богато, в прекрасных залах, уставленных аквариумами, в которых, поводя своими громадными перистыми плавниками, медленно двигались причудливые создания, поводя на любопытных зрителей свои глаза, посаженные на длинные нервы, чему они и были обязаны своим именем. На этих вечерах читались какие-то диаграммы, которых никто не слушал, и демонстрировались какие-то глаза и приходилось поднимать их на экран волшебного фонаря. Но сущность была не в этих докладах и даже не в аквариумах, а в том, что по окончании демонстрации подавался чай и собрание превращалось в малый клуб, где можно было встретить «toute Moscou», блеснуть туалетом, увидеть туалет соперницы и перекинуться словом с кем нужно. Особая же притягательная сила собрания была в том, что в нем появлялись лица из другого круга: здесь бывали молодые приват-доценты, несколько художников из новейшей группы «Зеленой Астры», несколько поэтов почти что футуристов («но очень-очень comme il faut!»), несколько композиторов школ Скрябина или Стравинского, одним словом — представители Москвы художественной и литературной, которых нельзя было увидеть ни в салоне у -овых, ни на балу у -иных, ни на обеде у -уских.

Собирались по-московски, т. е. поздно. Известно, что в час, когда весь Париж уж в постели и каждый истинный парижанин уж храпит, надев

* Далее зачеркнуто: причудливо-безобразных и отвратительных

ночной колпак, под огромной периной, рядом со своей женой или сожительницей, и только для иностранцев, которыми кипит мировая столица, огни освещают ее два полюса: Монмартр и Монпарнас, — в этот час Москва только начинает свой * «вечер». «Просим к нам сегодня вечером» на московском диалекте означает: пожалуйста после 11 часов ночи, да и то приехавший слишком близко к этому часу рискует оказаться первым и вызвать неприятное удивление хозяев неурочно-ранним появлением. Поэтому в начале 12-го, когда вошел Федор, в зале было еще довольно пусто: приглашенный лектор, добросовестно зарабатывавший установленный гонорар в 50 рублей, монотонным голосом читал что-то <1 нрзб> скучное о рациональных приемах обновления воздуха в воде аквариумов, и кучка из 10—15 человек, разместившихся в первых рядах стульев, делала вид, что слушает. Но уже быстро <?> собирались обычные посетители вечеров; у подъезда каждую минуту останавливались огненные глаза автомобилей, и швейцар едва поспевал принимать разноцветные пальто и *sorties de bal*: дамы умели с необыкновенной грацией сбрасывать их одним небрежным движением плеч и потом шли дальше, словно не обратив внимания на судьбу своего одеяния, зная, что вышколенное <?> искусство швейцара никак не даст им коснуться пола, но что они будут подхвачены на лету и бережно помещены на вешалку.

Федор обвел глазами присутствующих. Ее не было. Но <он> даже не успел испытать чувство досады за то, что понапрасну появился в Обществе, как из коридора легкой поступью воздушной феи — поступью, кажется, тоже старательно заученной, — выступила Людмила в сопровождении тетки Фаины, следовавшей сзади, как тень за человеком. Людмила была более чем очаровательна: на ней был изящнейший вечерний туалет, простота которого стоила раз в пять дороже, чем самое роскошное платье, а вместо всех украшений, на груди был только один бриллиант в виде кулона на тончайшей золотой цепочке — огромная сверкающая слеза, — но бриллиант, за который было заплачено ровно ** тридцать тысяч (Бучугину не удалось выторговать у ювелиров даже 5 % скидки!).

Федор издала поклонился. Единственным его желанием было бежать навстречу, поцеловать руки, заговорить, спросить, сказать, — по условиям «света» требовали оставаться на месте, даже не смотреть пристально на ту, к которой были обращены мысли, и делать вид, что слушаешь лектора. Людмила прошла еще лучшую светскую школу, нежели Федор, который, собственно говоря, многое постиг в деле этикета только «своим умом»; и потому с еще большей выдержкой Людмила чуть-чуть кивнула в ответ головой, показав изумительную прическу, где каждый волосок лежал покорно рядом с другим волоском присела с милой непринужденностью на ближайший свободный стул и, казалось, вся обратилась в слух, с любезной улыбкой узнавая подробности об устройстве новоизобретенного насоса для накачивания воздуха в аквариумы.

Прошло не менее четверти часа, в продолжение которых Федор все не смел первым приблизиться к Людмиле. Несколько раз он порывался нарушить все правила этикета, подойти и сесть рядом; нога уж готова была сделать первый шаг; но один взгляд на все это общество, на безукоризненные смокинги, на пробы юношей, проведенные словно по циркулю, на неподвижность улыбок, застывших на женских лицах, парализовал волю. В таком обществе нельзя, невозможно, немислимо было сделать хотя бы один жест, нарушающий этикет: к сыновьям и дочерям, внукам и внучкам недавних Тит Титычей перешли, казалось, все предрассудки Версаля времен Короля Солнца и Людовика XV!

* Далее зачеркнуто: «день»

** Далее зачеркнуто: шестнадцать

Наконец, лектор кончил. Никто на самом деле не слышал, что именно он читал. В памяти смутно оставались только слова: «воздушное давление», «предельная атмосфера», «коэффициент расширения»... Тем не менее раздались аплодисменты, не слишком громкие, ибо это было бы вульгарно, но достаточно оживленные, чтобы они выражали удовлетворение аудитории: хлопали покровительственно, совершенно так же, как в ресторанах дают лакею «на чай», если тот добросовестно исполнил свои обязанности. Послышался шум отодвигаемых стульев, легкий шорох юбок и первые голоса; все вставали с мест и обменивались приветствиями, так как большинство приехало уже после начала чтения.

Федор, вежливо уклоняясь от целого ряда обращенных к нему лиц, решительно двинулся в сторону к Людмиле, как вдруг кто-то осторожно подхватил его под руку. Федор даже вздрогнул от неожиданности: мы так привыкли считать свое тело неприкосновенным, что всякое касание к нему чужой руки вызывает в нас дрожь: чувство незнакомое в тех кругах, где «затрепина» и «тычок» считаются зауряднейшим случаем. Быстро обернувшись, Федор увидел перед собой Грабовского, которого даже не сразу узнал, так как уже давно не встречал нигде. Это еще больше раздосадовало Федора и, с трудом сдерживая негодование, он, намеренно не сдерживаясь, бросил резко:

— Простите, у меня дело...

Но поляк знал, что делал; наклонясь, он столь же быстро шепнул:

— Вы знаете, что ваш отец умер?

— Что-о?

Удар молнии, которая вдруг испепелила бы лектора, читавшего о коэффициентах давления, не более поразил бы Федора. Он стоял, буквально остоленев, и смотрел на поляка, принесшего такое чудовищное известие. Грабовский продолжал шептать:

— Я догадался, что вы ничего не знаете, и принял на себя смелость разыскать вас. Вероятно, из дому послали сказать вам на квартиру, но там не знают, где вы находитесь. Вам нельзя здесь оставаться, пойдемте.

Федор был еще настолько поражен известием, что покорно позволил вывести себя в коридор. Там только он опомнился и спросил * отрывисто:

— Откуда вы узнали? Я сегодня обедал с отцом. Он был совершенно здоров три часа назад.

— Во-первых, не три часа, а пять часов тому назад. Во-вторых, тотчас после ваше~~й~~... после вашего разговора ваш батюшка почувствовал себя дурно. Его уложили в постель. Произошел, вероятно, удар, и в 9¹/₂ часов вечера его не стало.

Федор все еще не мог освоиться с этой мыслью.

— Что ж? Был доктор? Констатировал смерть?

— Простите, Федор Васильевич, у меня нет подробностей. Но я достоверно знаю, что ваш батюшка скончался. Притом при таких странных обстоятельствах, что я в силу нашей старинной дружбы счел долгом тотчас известить вас.

Грабовский говорил неправду о старинной дружбе: Федор едва знал его, и знакомство ограничивалось несколькими кутежами за Тверской заставой. Но было не время останавливаться на этих мелочах и Федор только переспросил:

— Какие странные обстоятельства?

Хотя разыскивать Федора Граб~~овский~~ и отправился именно для того, чтобы сообщить об этих обстоятельствах, он теперь не сразу нашел слова, как их определить.

* Далее зачеркнуто: решительно. Затем снова зачеркнуто: с недоверием

— Видите ли... Уж ходят по городу слухи... Вам это необходимо знать... Одним словом, говорят, что ваш отец был отравлен.

Это было уже более того, что Федор мог вынести. Разумеется, современный человек в обморок не падает, не вскрикивает от ужаса и вообще всегда настолько владеет своей внешностью, что ничем не выражает своего волнения, когда находится в присутствии других, но на этот раз Федор почти изменил этим правилам. Он вдруг высвободил свою руку от рук Гр<абовского>, крепко его сжимавшего, и кинулся к выходу, едва не забыв кинуть:

— Благодарю вас!

Но Гр<абовский> догнал Федора на площадке лестницы.

— Федор Васильевич! Куда же вы?

— Благодарю вас за известие, я должен ехать.

— Куда?

— Простите, это уж мое дело.

Однако последняя фраза до такой степени нарушала все установленные правила приличия, что и сам Федор, произнеся ее, тотчас почувствовал неловкость и поспешил поправиться:

— Извините меня *, Владислав Феликсович, вы видите, я расстроен. Я, разумеется, тотчас поеду к отцу.

— Вы действительно расстроены, так что позвольте мне ехать с вами.

Гр<абовскому> во что бы то ни стало хотелось использовать момент и втереться в дружбу и в близость к будущему миллионеру. Но Федор был человек <?> решитель<ный>:

— Еще раз извините, я должен быть один.

И, поворотившись, Федор пошел вниз, но потом, вспомнив, вернулся.

— Вы были так любезны, Владислав Феликсович, окажите мне еще одну услугу.

— Я в вашем распоряжении.

— Вы знакомы с Людмилой Николаевной?

— Бучугиной?

— Да. Пожалуйста, сообщите ей причину, почему я уехал, не повидавшись с ней.

6

Гр<абовский> не успел еще ответить, как Федор уже сбежал вниз, перескакивая через две ступени, накинул пальто и вырвался на улицу. Прохладный воздух апрельской ночи пахнул в лицо. Засияли перед глазами созвездия: Большая Медведица, Плеяды, Орион... Федор вздохнул полной грудью и сразу почувствовал себя другим человеком: энергия, бодрость, спокойная деловитость вернулись к нему: бессознательно он ощущал у себя под ногами твердую почву десяти миллионов.

Через двадцать минут лихач подкатил Федора к воротам Таганского дома Ходаковых. В окнах, выходящих во двор, виднелся свет: значит, в доме не спали. Федор дернул ручку старомодного звонка на проволоке и стал ждать.

Громыхая ключами и шлепая валенками, подошел к калитке хорошо знакомый дворник Филипп, залаяли собаки, Нерон и Цыган, калитка, скрипя, отворилась.

— Это ты, Филипп! Как же это случилось?

— Божья воля, — отвечал мрачно Филипп.

Но Федора поразило, что старик продолжал стоять в дверях, закрывая своим телом вход. Федор подождал мгновение. Филипп молчал.

* Далее зачеркнуто: Феликс

— Ну пусть пройти! Я же тороплюсь.

— Так что, барин, — медленно произнес Филипп, — матушка ваша теперь почивают, и сестрица легли-с. Все, значит, спят...

— Все равно, ведь есть кто-нибудь в доме!

Федор хотел отстранить Филиппа, но тот решительно загородил дорогу.

— Так что пожалуйте завтра, барин, — мрачно сказал он.

Второй раз в этот вечер Федор остолебенел. Он чувствовал, что этот мужик, дворник, старый Филипп, которого он знает с детства, наносит ему оскорбление, тяжелее любой пощечины. Федор даже не мог говорить от гнева; обеими (?) руками он схватил Филиппа за ворот*, шагнул через подворотню и, наконец, проговорил задыхаясь:

— Ты понимаешь, мерзавец, что ты говоришь!

В минуту гнева утонченный мечтатель Федор Ходаков, член Общества телескопов и автор исследования по вариационному числению, становился диким кунцом, способным «бить по роже» «половых» и «ребят».

Старику было не под силу бороться с молодым человеком, к тому же не чуждым футбола и тенниса, и он только забормотал (?) вслед Федору, уверенно шагнувшему по двору:

— Да мне что ж, барин, как что приказано.

Федор обернулся:

— Тебе что ж, приказано не пускать меня?

— Так точно, приказано.

Филипп служил когда-то солдатом и органически уже не мог выговорить иного утверждения, кроме «так точно». Федор пожал плечами и решительно взошел на ступеньки крыльца и нажал кнопку звонка; Нерон и Цыган, узнав молодого барина, прыгали кругом.

За стеклянной дверью вспыхнуло электричество (новшество, введенное в Таганском доме по настоянию самого Федора). За стеклом появилась фигура Григорьяча, полу-лакея, полу-дворецкого **, переведенного на эту должность из приказчиков, после того как он в чем-то проворовался. Узнав Федора, Григорьяч, не отпирая двери, отрицательно закачал головой. Ярость Федора дошла до последних пределов, он готов был разнести вдребезги этот дом, в котором считал себя хозяином и куда его не пускали; с безумным ожесточением он начал колотить по стеклу. Григорьяч испуганно приотворил дверь.

— Батюшка Федор Васильевич! — заговорил он, — помилосердствуйте! Барыня Матрена Тихоновна легли, так как очень наплакавшись, и барышня Анна Васильевна также почивают. Никого не приказано пущать, настрою не приказано!

— Да ведь не меня же!

— Нет-с, так и сказать изволили. И ежели, говорят, приедет Федор, скажи ему, чтоб завтра на панафиду приезжал.

— Послушай, Григорьяч, — спросил Федор, наконец овладев собой, — да кто здесь хозяин теперь, в этом доме? Я или нет?

— Этого я не могу знать, — осторожно возразил лакей, — оно, может быть, и вы-с, но пока здесь распоряжается вдова покойного вашего батюшки, матушка ваша, и они мне настрою заказали. Ежели, говорят, приедет Федор, скажи, пусть, мол, приезжает завтра на панафиду.

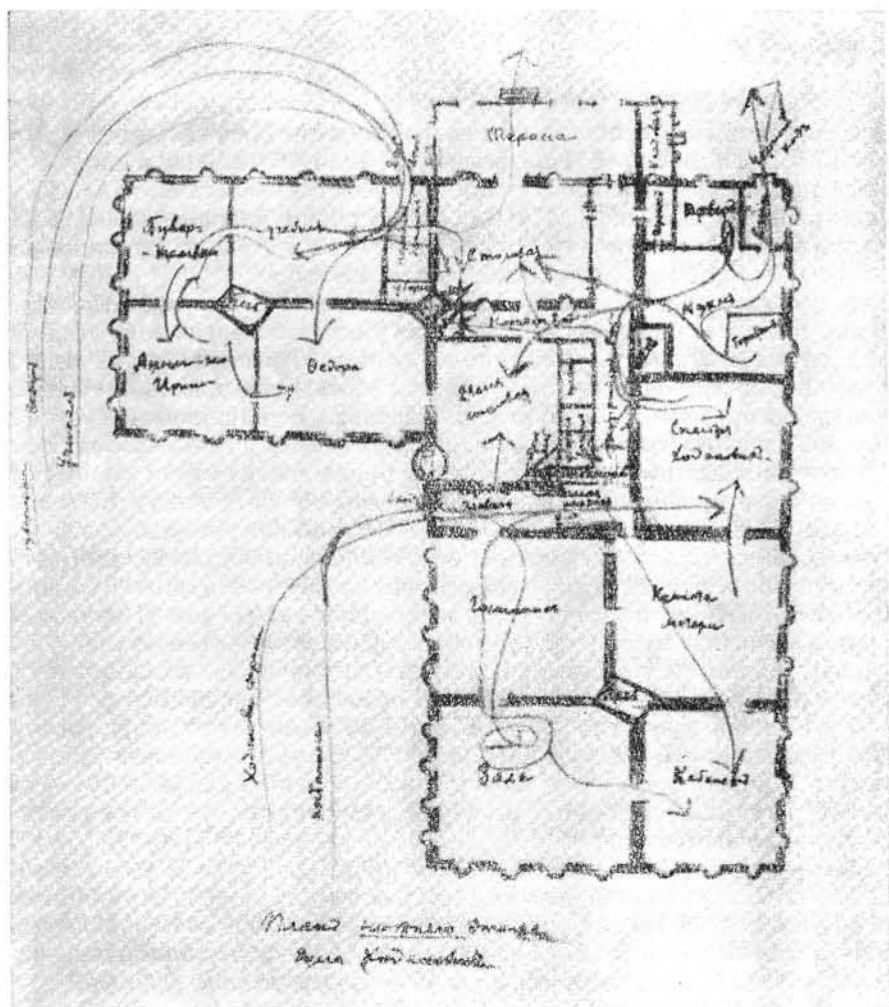
— А если я хочу поклониться телу отца? Помолиться перед телом?

— А это никак-с невозможно, потому что, значит, полиция никого не дозволила пущать, и печать на дверь наложен, да-с.

Федор посмотрел растерянно на Григорьяча... И вдруг сразу, как вспышка зарницы, истина представилась Федору: это его, сына, подозревают

* Далее зачеркнуто: и хотел отшвырнуть его от ворот. Но, к изумлению Федора, Филипп оказался смел, высвободился из рук барина

** Далее зачеркнуто: нянчившего Федора



ПЛАН ДОМА ХОДАКОВЫХ

Материалы к «роману из современной жизни»

Рисунок Брюсова

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

в отравлении отца! То был третий страшный удар в этот вечер. Сразу все * возбуждение Федора упало: не стало ни сил, ни воли. Еще раз он тупо посмотрел на Григорьича, стоявшего в прежней, полупочтительной, полувывышающей позе, потом круто повернулся и побрел прочь.

Филипп дожидался у калитки с ключами в руках. Федор не сказал ему ни слова, молча вышел, сел на ожидавшегося его лихача и коротко приказал:

— В Малый Кисельный!

Лошадь рванула. Филипп закрыл калитку. Григорьич погасил электричество в прихожей. Тело Василия Тимофеевича покоилось в опечатанной комнате и только перед стеклянной дверью в нее был поставлен аналой, и монашенка заунывно вычитывала:

— Идеже несть страсти, печали и въздыхания, но жизнь вечная...

* Далее зачеркнуто: сила; затем снова зачеркнуто: энергия

Глава [VI] II*

1

Дом Ходаковых делился как бы на две партии. Конечно, глава семьи, теперь покойный Василий Тимофеевич, правил ** самодержавно, и его воле всё кругом подчинялось. В часы его гнева все трепетали, как рабы перед ассирийским владыкою. Но в обычное время младшие члены семьи составляли как бы особое автономное царство, к которому принадлежал, до своего изгнания из родительского дома, и Фео.

Василий Тимофеевич жил на «своей половине», к которой относились парадные комнаты, большею частью пустынные, с мебелью, закрытой чехлами, и кухня с разными к ней примыкавшими помещениями. В этих же неуютных, торжественно-пустых хоромах проводила жизнь и Матрена Тихоновна, вторая жена Ходакова, урожденная Кумачникова. Девятнадцатилетней «девкой» вышла она за вдовца, которому шел 45-ый год, правда, богатого и бездетного (дети от первого брака все к тому времени умерли), но крутого нравом и бравшего себе в дом новую хозяйку только затем, чтобы «порядку было больше» и чтобы «стало кому имущество и дело передать». Матрена эти требования послушно исполнила, хозяйство повела аккуратно и родила мужу троих детей, из которых в живых остались двое: Феодор и Анна, но своей воли не проявила ни на миг. Попав в богатый дом из семьи небогатой, застенчивая девочка Мотря сначала дрожала перед своим господином и повелителем, словно бы он властен был в любое мгновение испепелить ее, потом обжила, располнела, приняла манеры степенной купчихи, но так и осталась верной «старине», заветам старого Замоскворечья, в которых выросла, несмотря на все веяния новой жизни, проникшие и в дом Ходаковых. Василий Тимофеевич по-своему любил жену и последние годы даже снисходил до того, что с ней в иных случаях советовался.

Вокруг стариков, Василия Тимофеевича, которому во втором десятилетии XX в. пошел восьмой десяток, и Матрены Тихоновны, которой тоже подошло уже под пятьдесят, группировался целый мирок «своих людей», близких к ним по воззрениям и угождавших им и низкопоклонничавших перед ними. Один за другим, по разным поводам и под разными предлогами, эти люди попадали в богатый ходаковский дом, оседали или как-то застревали в нем и уже оставались навсегда, на положении «бедных родственников» и на правах «приживальщиков» и «приживалок». На первом месте тут была «тетя Феня», сестра Мотри, моложе ее на три года, замуж не вышедшая, кроткая и робкая «старая дева». Поселилась она при более счастливой сестре после смерти отца, под конец совсем обедневшего, но, впрочем, оставившего дочерям какие-то крохи в наследство. Василий Тимофеевич великодушно отказался за свою жену от ее доли, а тетя Феня никогда никому не признавалась, сколько именно наскребла она по ликвидации отцовского дела: может быть, и до десятка тысяч. Деньги эти она держала в банке, а так как тратить ей было почти некуда, то капитал ее все рос да рос, и это придавало ей в доме Ходаковых некоторую самостоятельность, которой во зло она не пользовалась.

Напротив, «дядя Костя», мужчина лет сорока, тоже проживавший у Ходаковых, по его собственному выражению, был «гол как сокол» и жил только подачками. По паспорту Константин Кондратьевич Клушин, дядя Костя высчитывал, что Василию Тимофеевичу он придется «внуучатым племянником», но получил свой угол, конечно, не столько по родству, сколько по умению прислуживаться, когда — польстить, когда —

* Фрагмент II

** Далее зачеркнуто: домом

позабавить. Однако водился за ним один грех: он запивал, и не раз в такие дни разгневанный Василий Тимофеевич грозил «вышвырнуть эту слякоть» на улицу, чтобы «и запаха ее не осталось»... Но запой проходил, дядя Костя являлся с повинной, и все вновь шло обычным порядком.

Третьим членом «партии стариков» была Лукерья Ниловна, совсем даже не родственница ни Матрене Тихоновне, ни Василию Тимофеевичу, хотя и пытавшаяся подвести какое-то свойство через его первую жену. Подлинный, ныне исчезающий тип «приживалки», Лукерья Ниловна, издавна навещавшая Ходаковых и получавшая на кухне остатки обеда, однажды, лет десять тому назад, попросила позволения, под каким-то предлогом, переночевать, да так и осталась в доме. Сначала перетащила к Ходаковым свой скудный скарб, потом выхлопотала себе каморку подле кухни, а там уже стала появляться за «хозяйским» столом: одним словом, втерлась в семью и незаметно стала ее членом, так что скоро уже стало невозможным представить себе у Ходаковых обеденный стол * без черной фигуры Лукерьи Ниловны. «Дальняя родственница», говорили про нее, и она сама, кажется, поверила, наконец, в это выдуманное ею же родство.

Наконец, таким же постоянным членом семьи была «странница» Серафимочка — тоже одна из «последних могикианш» своего рода. По внешности словно вышедшая из старой комедии Островского, она была, однако, куда более «культурной», чем ее прототип из «Грозы»: десятилетия сделали свое дело. Серафимочка не только не могла уверять, что паровоз это — запряженный дьявол, но и сама охотно пользовалась и железными дорогами и телефоном, и даже очень полюбила тайно посещать кинематограф. Это не мешало ей длинно повествовать о своих «странствиях», как с паломниками побывала она во Иерусалим-граде, и в Италии, в городе Баре, где мощи Николая чудотворца, зашившего поганого еретика Ария, и в Киевских печерах, и в Соловках. И не только Матрена Тихоновна, но и сам Василий Тимофеевич способен был целыми вечерами слушать эти рассказы о заморских диковинах и святыхнях.

Четверо этих лиц поселились в ходаковском доме прочно, так что до последних дней, до самой смерти Василия Тимофеевича, им, вероятно, перестал даже приходить в голову вопрос: а по какому праву я здесь живу? Но, кроме них, непрерывно в доме гостили другие личности, тоже какие-то «родственники» и «родственницы», «старцы», «странники», «монашенки», неизвестно откуда появлявшиеся, кто — пообедать, кто — переночевать, кто — провести день, два, а то и несколько недель или даже месяцев. В сущности, вся семья Ходаковых состояла из 4—5 человек, но со всеми проживающими в доме редко за обед садились меньше 15, а часто и больше. Летом же, когда Ходаковы выезжали на свою дачу в Сокольников, набиралось порой и до 30 человек! Каждый день был словно званный обед.

За этими обедами «старик» встречались с «молодыми». Как возникла в суровом ходаковском доме, казалось бы, закрытом от всех живых влияний извне, эта вторая партия «молодых», надо рассказать отдельно.

У Василия Тимофеевича была младшая сестра, Марья. Ее, тоже почти девочкой, лет 19, выдали за сына богатого скорняка — Никифора Лукича Твердого. Семья Твердых была такая же ветхозаветная, московско-купеческая семья, как Ходаковы, Клушины и Кумачниковы. Но юность Никифора пришлась на горячее время, 60-ые годы; он как-то сблизился с кружком студентов, стал читать книжки, учиться, даже сам поступил было в Петровскую академию... Увлечение это длилось недолго; после бурных ссор с отцом Никифор уступил, из академии вышел и, покорный родительской воле, женился на Марье Ходаковой. Однако одно у Никифора от

* Далее зачеркнуто: — за который ежедневно садились человек 15 —

периода его «эмансипации» осталось: уважение к науке. Когда у него родился сын, Илья, он твердо, «по-твердовски» (ибо их род отличался упрямством), порешил — дать сыну образование. Деньги были, к Ильёше, несмотря на возражения деда, пригласили гувернанток и учителей; потом отдали Илью в гимназию, а потом он уже сам пошел в университет. Так, во втором поколении, Твердые из «замоскворецких» перешли в «интеллигенцию». Илье было 22 года, когда в 1888 г. он встретил свою будущую жену, Ксению Ивановну Залужскую, бедную сироту, но девушку с характером посильнее, чем у всех Твердых, взятых вместе. Молодые люди поженились, и Илья, отказавшись от ненавистного ему скорняжества *, получил место управляющего частной обсерваторией (он был математик и астроном). Дед Ильи, старик Твердый, к тому времени умер; отец, Никифор Лукич, видя, что сын не хочет продолжать родового дела, ликвидировал скорняжную мастерскую, выручив что-то до ста тысяч, и хотел доживать век на покое. Но тут-то и обрушились на Твердых несчастья.

Илья был женат уже лет семь; было у него две дочери — старшая Ольга, младшая Ириночка; внезапно, простудившись, Илья заболевает воспалением легкого и через неделю умирает. Семья была еще под гнетом этого удара, как падает второй. Оказывается, что «дедушка», Никифор, поместил свои деньги, думая выручить большие % %, в известный банк ***, о крахе которого в 90-х годах прошлого века с месяц говорила «вся Москва». Банк «лопнул», и от крупного капитала остались крохи. Никифор, которому было тогда под 60, не снес удара: говорили, будто старик наложил на себя руки, отравился, но, может быть, это и пустые рассказы. Но жива была еще бабка, Марья Тимофеевна, сестра Василия Тимофеевича. Она пошла просить помощи у брата, и так в доме Ходаковых поселилась целая семья: старуха Марья, ее золовка Ксения Ивановна и две ее дочери Ольга и Ирина. С этого и вошло новое в дом Ходаковых.

Евгения была женщина, которая не теряет ни в каких обстоятельствах. Без копейки денег, с двумя малютками-дочерьми, принужденная жить из милости в чужом доме — и каком доме! у Василия Тимофеевича Ходакова, которого его приказчики боялись, как грозы божией, — Евгения сумела не только завоевать себе самостоятельное положение, но даже оказывать свое влияние. Василий Тимофеевич в ту пору был уже лет 12 женат на своей Мотре, уже были в семье и Феодор, и Анна. Молодая «учительша», как называли сначала у Ходаковых Евгению, словно околдовала старика: в первый раз ходаковская воля столкнулась с другой, не менее решительной. В один из первых же дней после того, как Евгения поселилась у Ходаковых, вышло жестокое столкновение между ней и Василием Тимофеевичем. Тот вспылил, у Мотри от ужаса язык отнялся, но «учительша» безбоязненно встретила все молнии грозного хозяина.

— Вы — умный человек, — сказала она ему, — подумаете и сами увидите, что неправы. И вам самим стыдно станет, что вы понапрасну кричали. А меня пустым криком не напугаете.

Василий Тимофеевич остолбенел; посмотрел на Евгению, тонкую, чихоточную женщину, которая без всякого страха перечила ему, хотя во всем от него зависела, — посмотрел и удивился.

— Однако ж... Ты, того, — бой-баба! — вымолвил он, наконец, помолчав.

Гнев его вдруг остыл, и с того часа Василий Тимофеевич стал испытывать новое для него чувство: уважение к другому лицу.

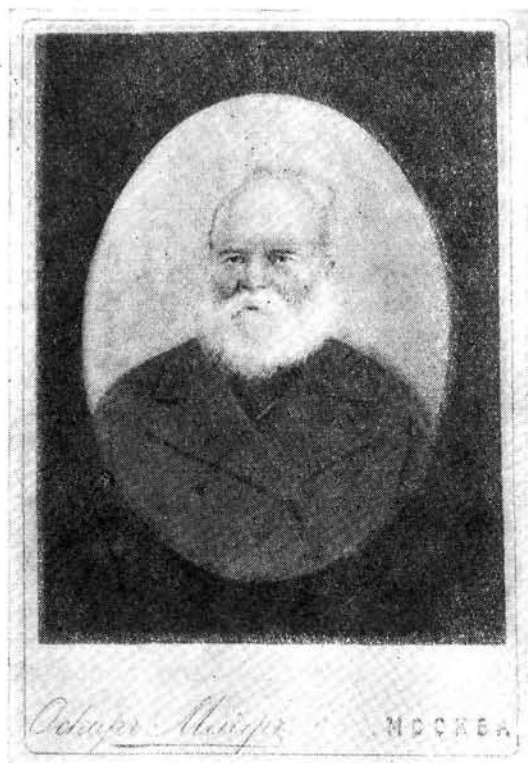
Евгения не торопливо, но решительно овладевала своей долей власти в ходаковском доме. Для себя и для своих дочерей, и для бабушки Марьи она вытребовала совершенно отдельный флигель, куда назначили и от-

* Далее зачеркнуто: поступил лаборантом в университет; заведующим

К. А. БРЮСОВ. ДЕД ПИСАТЕЛЯ

Фотография О. Мейера. Москва,
1980-е годы

Библиотека СССР им. В. И. Ленина,
Москва



дельную прислугу. Мало того, Евгения потребовала, чтобы ее дочерям взята была гувернантка, и к потрясающему удивлению всех Василий Тимофеевич уступил.

— Разве вы не видите, — сказала ему Евгения, — насколько выгоднее быть человеком образованным. Оглянитесь вокруг, посмотрите, что делается даже в вашем мире, торговом...

Василий Тимофеевич, действительно, был человек далеко не глупый, и убедить его в пользе образования было не так трудно. Втайне и сам давно подумывал дать образование своим детям. Евгения только положила последнюю гирьку на чашу весов, уже готовую перевесить. И вот, в ходаковском доме появилась m-lle Blanche, а за ней и разные учителя и наставники. Было решено, что Анна, Ольга и Ирина будут учиться вместе, так как они были одного возраста, а Феодора стали готовить в гимназию...

Так зародилась новая жизнь в ходаковском доме. Евгения была не жилица на свете: чахотка медленно, но беспощадно точила ее силы. Она прожила, однако, в доме Ходакова лет десять, занимая в нем совершенно особое положение. Ни в чем не позволяла она себе посягнуть на права Матрены Тихоновны, хозяйки, но едва ли не все кругом творилось по воле Евгении. Дом был заново отремонтирован, в комнатах появилась великолепная рояль, прислуге пришлось во многом «подтянуться»; Евгения, кстати, прекратила невероятное воровство, которое царило в доме при всей расчетливости Ходакова, да, осторожно действуя, выселила пять или шесть приживальщиков, уже пустивших корни у Ходаковых: устояли только «тетя Феня», да «дядя Костя», да Лукерья Ниловна (Серафимочка водворилась уже позже). Зато с беспощадностью был изгнан «старец Ириней», занимавшийся пророчеством, но у которого нашли множе-

ство уворованных из дома вещей, а «блаженненский Ваня», тихий идиотик, иногда становившийся буйным и опасным, был помещен в психиатрическую лечебницу; с ними исчезли с кругозора еще какая-то «Лизавета», врачевавшая травами, майор Усатов, терроризовавший одно время робкую Мотрю, «племяша» Петя, втершийся в родство, и другие такого рода весьма «темные» личности.

Важнее было то, что прорвана была плотина, закрывавшая молодому поколению путь к образованию. Феодор поступил в гимназию и учился хорошо; Анна и Ирина вскоре последовали за Феодором и тоже стали ездить в гимназию на прекрасных рысаках Ходаковых. Ольгу почему-то отдали в закрытый пансион. Это послужило к ее гибели: девочка заразилась тифом и умерла на чужих руках, причем начальство пансиона так долго откладывало известить родных, что мать уже не застала дочери в живых... Это несчастье сильно потрясло Евгению; она вдруг состарилась, даже утратила свою обычную энергию и через год последовала за дочерью, перед смертью взяв торжественную клятву с Василия Тимофеевича, что он даст возможность и своим детям и Ирине завершить образование. Старуха Марья скончалась еще года на три раньше. Ирина осталась в доме Ходаковых круглой сиротой, но ее уже считали «своей». Феодор и Анна любили ее как родную сестру, а Василий Тимофеевич, тряхнув головой, после смерти Евгении положил на ее дочь в банк 30 тысяч.

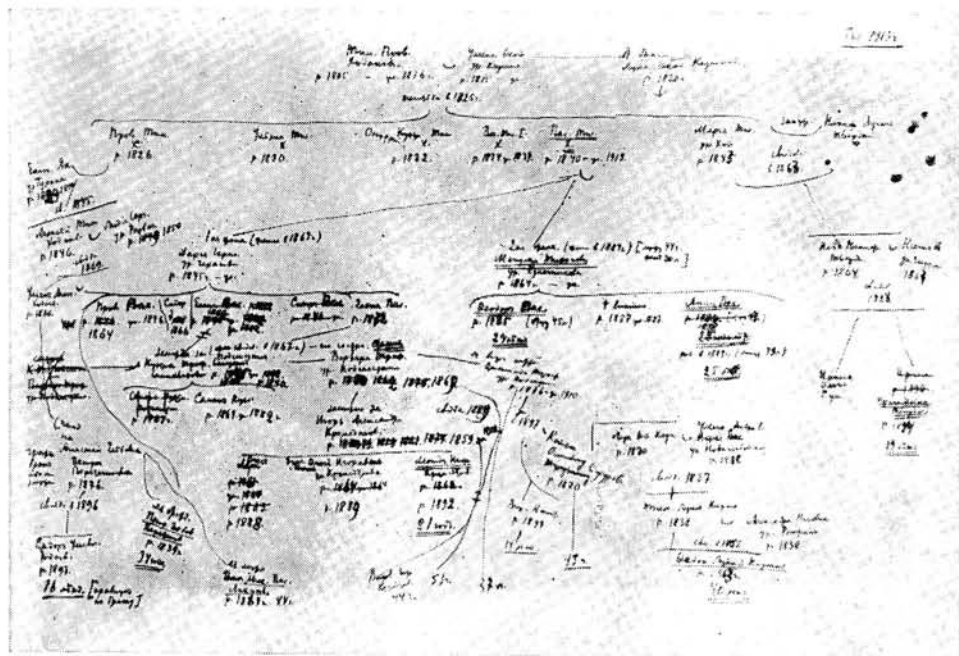
— Ежели, значит, я что делаю, — заявил он, — так в полноту, а не наполовину!

Впрочем, злые языки и тут говорили, что для десяти миллионов, которыми исчислялось состояние Ходакова, 30 тысяч была сумма довольно-таки скромная.

Эти трое «ученых», Феодор, Анна и Ирина, и образовывали ядро партии «молодых» в ходаковском доме. После того как появилась в нем Евгения, они собрались вокруг нее и чуть ли ее не обожествовали: Анна ребенком была буквально влюблена в «тетю Женю» и ради нее готова была бы пойти на смерть и муки. Для самой Евгении единственным утешением в ее тяжелой жизни в доме Ходаковых было — заниматься с детьми: она всячески заботилась об них, играла с ними, учила их, воспитывала их. По смерти Евгении дети остались верны ее памяти и долго в своих детских молитвах поминали ее имя, наивно повторяя: «И упокой, господи, тетю Евгению на небесах».

Как мальчик и как старший, Феодор естественно заступил после Евгении ее место, став, так сказать, главой партии. По обычаю дома, она постоянно пополнялась новыми рекрутами: Ольга, сестра Ириночки, умерла, но в доме постоянно гостили то подруги двух девочек, то товарищи Феодора. Кроме того, в доме осталась жить m-lle Blanche: дети выросли, но никто не предложил бывшей гувернантке покинуть ее место, а т. к. m-lle Blanche было буквально некуда деться, то она и осталась в обширном ходаковском доме в качестве не то экономки, не то дуэньи при Анне...

Матрена Тихоновна жила, окруженная своими приживалками и стражниками; на ее половине служились молебны, слышались повествования о путешествиях по святым местам, горели лампадки перед огромными божницами. Во флигеле, куда понемногу перебралась вся молодежь, царил оживление и веселие. Там собирались зачастую целые маленькие митинги юношей и девушек, что-то читали, спорили, шумели, причем поедались неимоверные груды конфет, в которых никогда не было недостатка в доме Ходаковых. Важно было только, чтобы митинги эти происходили в будни и в те часы, когда Василий Тимофеевич находится «в анбаре». К 6 часам все посторонние посетители исчезали; оставались лишь те, кто гостил в доме. За обедом молодежь чинно крестилась перед тем, как



РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ХОДАКОВЫХ
Материалы к «роману из современной жизни»

Автограф

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

сесты за стол, сидела скромно, не вмешиваясь в речи старших. Потом вечером, в своем флигеле *, еще долго шептались под покровительством на все смотревшей сквозь пальцы m-lle Blanche. А Феодор с товарищами запирался у себя «наверху» (ему был отведен второй этаж — ряд низеньких «антресолей»), где первые годы затевались разные проказы, а позднее, когда юноши подросли, тайно устраивался «банчок» и появлялись на столе бутылки с вином... Здесь покровителем молодежи был некий Евфим; он когда-то служил «в деле», но при одном несчастном случае потерял руку и был приставлен к «молодому барину», как говорила прислуга, хотя сам Василий Тимофеевич терпеть не мог этого выражения («Какие мы баре?» — негодуяще говаривал он).

Так шли годы. Долгое время каким-то чудом поддерживалась видимость полного согласия между двумя половинами дома, и грозный Василий Тимофеевич ничего не знал об том, как проводили жизнь его дети. «Учатся», — думал он, и довольствовался этим убеждением. Но тайну можно было хранить лишь до поры до времени; то одно, то другое стало всплывать перед стариком Ходаковым, тем более что в добровольных шпионах в доме недостатка не было. Понемногу дошло дело до суровых разговоров между отцом и сыном и отцом и дочерью. На беду Федор склонен был покутить: широкая отцовская натура сказалась, — и студентом познал сладость разных «Аркадий» и «Эрмитажей». Понадобились деньги, гораздо бóльшие, нежели сколько отпускал отец... появились на сцену векселя... Вышло очень неприятное объяснение с отцом; Василий Тимофе-

* Далее зачеркну то: ДЕВОЧКИ

евич разгневался очень, грозил сыну, что проклянет и прогонит из дому, но на первый раз смиростивился и заплатил долги — что-то около десяти тысяч: для студента, хотя бы и сына миллионера, сумма немалая. К несчастью <?>, грех повторился. На этот раз Феодор сам сознал свою вину, раскаялся, просил прощения, дал клятву исправиться и опять был помилован. После этого Федор, действительно, «остепенился», стал работать, отстал от товарищей по кутежам. Но тут началась новая история.

Феодор увлекся своим проектом — построить свою «стеклянную башню» или «стеклянный столп» для сношений с другими планетами. Опять потребовались деньги, и гораздо большие, нежели на кутежи. Естественно, что отец не мог понять, на что сыну нужны тысячи и десятки тысяч рублей, чтобы строить какое-то нелепое сооружение близ их подмосковной фабрики. Он требовал, чтобы Феодор бросил свои глупости и занялся делом, так как сам старел и желал передать и фабрики и торговлю своему наследнику <?>. Неожиданно Фео заявил, что он не намерен продолжать отцовского дела, что пора дело ликвидировать и обратить всё в деньги.

— На что нам больше, папаша? — заявил он. — Я не знаю, конечно, вашего капитала, но во всяком случае на всех нас хватит. Вы уже довольно поработали и можете отдохнуть.

Отец, конечно, вспылал страшно. Когда же из разговора выяснилось, что план Ф<еодора> состоит в том, чтобы отец, ликвидировав дело и фабр<ики>, теперь же выделил ему и сестре по миллиону, оставив все остальное себе, — Василий Тимофеевич пришел в ярость. Для чего же он, Василий Тимофеевич, работал всю жизнь, собирал сначала по грошам, потом по рублям, потом по тысячам, десяткам и сотням тысяч, умножая капитал и расширяя дело! Зачем же он создал прославленную по всей России фирму Ходакова, чтобы по его смерти всё пошло прахом? Вот к чему привело «учение»!

Ф<еодор> был молод. Будь на его месте человек постарше, он, может быть, ради перспективы в 10 миллионов и сумел бы лицемерить, уверять отца, что дело будет продолжаться. Василий Тимофеевич был стар, ему в 10 году стукнуло семьдесят, а Фе<одор> — молод, ему было всего 25 лет. Но молодость не рассуждает: Фе<одор> так прямо заявил отцу, что его призвание — иное, что с мануфактурой он ничего общего иметь не будет, что работать он намерен, и много работать, но совершенно на другом поприще — старику Ходакову решительно непонятном и неизвестном, да едва ли и не «сатанинском». Тяжелая распря длилась долго, несколько месяцев. Василий Тимофеевич любил сына, единственного наследника скопленных миллионов, которого он в мечтах всегда считал преемником фирмы Ходаковых; старик употребил все старания, все усилия, грозил и просил, то кричал, то пытался уговоривать, но Фео<дор> остался непреклонен <?>. И кончилось тем, что Фео<дор> ушел из дому отца. Не то чтобы отец его «выгнал», но просто им стало жить вместе невтерпех. Так возникли странные отношения между отцом и сыном. Феодор жил отдельно, получая от отца еж<егодно> по тысяче рублей, — скудное содержание для сына архимиллионера, — но упорно не хотел уступить. Старик грозил, что передаст все дело старшему приказчику, продувному и хитрому Капитону Осиповичу Сусурову (из родственников первой жены Ходакова), но втайне надеялся, что сын придет с повинной. Феодор поддерживал отношения с родным домом, зачастую ходил к отцу обедать, но стоял на своем.

В таком положении было дело, когда произошла катастрофа.

Глава *

Федор Васильевич предпочитал не держать постоянного лакея: комнаты убирала жена швейцара. Поэтому утром Фео был разбужен звонком телефона, стоявшим у изголовья постели. Заснул Фео после волнений предыдущего дня поздно и потому проснулся не сразу от звонка, хотя был уже десятый час утра. Привычным движением руки Фео схватился за трубку телефона и, только приложив ее к уху, отчетливо вспомнил всё, что произошло накануне.

— Слушаю. Что угодно?

— Фео, это ты?

Он узнал голос Иночки.

— Я, Ина, я! Только что проснулся. Очень, очень рад, что ты позвонила. Говори. Я ничего не знаю. Меня вчера не пустили к вам.

— Знаю, но у нас бог знает что делается.

— Расскажи всё, подробно!

— Разве же всё расскажешь! Потом я совсем расстроена. Я не спала всю ночь, буквально, совсем. Я слышала, как ты приезжал...

— Почему же ты не вышла ко мне?

— Ах, ты не знаешь, что здесь делается!

— Так рассказывай!

— Нет, не могу! Вот что: ты приедешь на панихиду?

— Ну, конечно, должен приехать! Но после всего, что случилось... Я не знаю, а что, если тот же Григорьич меня не впустит! Я не понимаю, неужели мамаша тоже...

У него не достало сил выговорить: «подозревает, что я отравил отца».

— Нет, ты приезжай непременно! Мне надобно многое, многое тебе сказать.

— Так говори.

— Не могу, Фео! Ну, совсем не могу. Ты не чувствуешь, что со мной. У меня все в голове спуталось. Я — как сумасшедшая.

— Но почему?

— Что здесь было! С дедушкой удар, бабушка рыдает, Анечка побледнела, как смерть, люди потеряли голову... Дедушка требует нотариуса... Хотели послать меня... Нет, я не могу, Фео, я не могу говорить! Приезжай!

— Постой! Когда панихида? Было ли вскрытие?

Ина уже положила трубку. Федор тотчас позвонил и назвал номер отцовского телефона, по которому только что говорил. Но к телефону уже подошел Григорьич.

— Это ты, Григорьич? Попроси к телефону Ирину Ильинишну.

— Ирина Ильинишна еще спят-с, Федор Васильевич!

— Как спит! Я с ней сейчас говорил!

— Не могу знать-с: они не сходили вниз-с.

Федор рассердился.

— Какой вздор! Она здесь где-нибудь! Я минуту назад с ней говорил!

— Не могу знать-с, Федор Васильевич.

Телефон опять был положен.

«Это черт знает что такое!» — почти произнес Федор. Он яростно начал одеваться. Но на душе было мрачно. Лакеи в отцовском доме унижали его; значит об нем, о Федоре, в доме, мать и сестра, говорили враждебно. Его, Федора, считают за убийцу, который не сегодня-завтра будет в тюрьме! Иначе ничем нельзя объяснить наглого поведения Григорьича — того Григорьича, который звал Федора еще ребенком!

Как ни торопился Федор, ушло больше часу времени, пока он оделся и выпил утренний кофе, проглядывая газету. Во всем теле была тяжкая истома, и, торопя себя сознательно, Федор бессознательно откладывал минуту выхода, позволяя себе читать газетные известия и медленно втыкать золотую булавку в галстук.

Был 12-й час, когда Федор опять подъехал к таганскому дому. У ворот стояли автомобили и экипажи, толпился народ; очевидно, совершалась панихида. На дворе Филипп почтительно поклонился, но Федор не ответил ему. В передней Григорьич столь же почтительно бросился снимать пальто. Федор сдержал себя и спросил только:

— Вскрытие тела было?

— Так точно-с! Сегодня утром-с, в 7 часов-с...

Федор прошел в залу, где посередине, на столе, лежало в роскошном гробу тело отца, уже окруженное первыми венками, серебряными и из живых цветов. В зале было много народа; у самого изголовья стояли мать и сестра и другие родственники. Хорошо знакомый священник, своего прихода, истово возглашал слова панихиды. Горели свечи.

Федор остановился на пороге. Поблизости от него оказалась Наталья Дмитриевна Куркина, соседка-домовладелица, одна из немногих, часто бывавших в доме Ходаковых. Федор знал ее с детства; забывшись, он быстро поклонился ей и уж сделал первое движение, чтобы поздороваться. Но в тот же самый миг он заметил, что Куркина, как-то вздрогнув, торопливо кивнула ответно головой и чуть-чуть подвинулась назад, словно избегая подавать руку. Может быть, это только показалось Федору, но во всяком случае, когда он, пораженный, остался на месте, Наталья Дмитриевна сама не сделала к нему ни шагу и первая руки не протянула.

Федор почувствовал, что бледнеет; сердце застучало. Он — отвержен! В родном доме — его сторонятся! Какие-то Куркины боятся подать ему руку! — *Отцеубийца!*

Последнее слово Федор отчетливо выговорил в мыслях.

Но может быть, что ему все же только показалось. Забыв о панихиде, о покойном отце, Федор сделал еще одну попытку. Неподалеку стоял Игорь Алекс(андрович) Кромчеделов, дальний родственник Ходаковых по первой жене Василия Тимофеевича. Федор решительно шагнул к Кромчеделову и определенно ему поклонился... На этот раз не могло быть сомнения. Лицо Кромчеделова выразило такое *(на этом текст обрывается)*.

Х *

Федор не мог выносить долее этой нравственной пытки. Не дожидаясь конца панихиды, он тихо, но быстро отошел назад к двери, вышел в гостиную и потом, почти бегом миновав ее, хорошо знакомыми темными коридорчиками выбежал в сад.

Был март, деревья стояли голыми, кое-где только пушились первые почки, должно быть, верб; прошлогодняя трава торчала странно-бурыми пиками; дорожки еще не были посыпаны песком. Но, вдохнув свежий воздух, Федор сразу почувствовал успокоение.

Он медленно прошел всю аллею до беседки, стараясь решить, что делать: уехать? остаться? а если и мать с ужасом от него отшатнется? и при всем обществе?

Федор обернулся. Перед ним стояла Ирина: она подошла так тихо, что он не оглянулся.

Как ни был взволнован Федор, он увидел сразу, что Ирина бледна неестественно, синевато-молочной бледностью, с полукруглыми, точно нарисованными, подглазницами.

— Иночка, что с тобой?

— Да, я очень изменилась? Здравствуй, Фео, сядем. Мне надо много тебе сказать, и каждую минуту могут помешать.

— Постой: а ты не отвернешься от меня, как другие?

— Другие!

— Мне не подают руки. Меня не впустили в дом. Меня, кажется, считают убийцей отца.

Фео впервые выговорил все это вслух и старался говорить шутя, с улыбкой, но ему стало жутко даже от звуков своего голоса. Ина вдруг приподняла глаза, не удивившись на вопрос, и ответила торжественно, как обычно не говорят:

— Фео, я знаю, что ты не мог это сделать. Если б даже все стали тебя обвинять, я знала бы, что это неправда!

Еще раз Фео почувствовал словно хлест пощечины. Значит, об этом можно было говорить! Значит, это никак не шутка! Ина ставит себе в заслугу, что не поверила глупой клевете.

— Так об этом говорят, Ина?

Ирина молча кивнула головой.

— Кто? и сестра? и мать?

Опять наклонение головы: да...

— Тогда мне остается только уйти отсюда.

Фео не вполне сознавал, почему должно уйти, а не наоборот — объяснить: главное, хотелось скорей убежать, уйти от стыда. Ирина удержала.

— Выслушай сначала. Может быть, после не придется говорить.

Фео безвольно остался стоять. Ирина говорила. Она путалась, голос ее прерывался. Но она и Фео привыкли понимать друг друга с детских лет. Полунамека было достаточно. Перед Фео ярко вырисовывалось, что произошло вчера.

Федор встал и вышел из кабинета отца, когда отец стал на него кричать в одном из свойственных ему припадков ярости: «Вон! Чтоб духу твоего не было в доме! Прокляну!» Так кричать старику случалось и раньше, и Фео думал, что через $\frac{1}{2}$ часа отец успокоится. Не простившись, Фео прошел в переднюю, надел пальто <и> уехал.

Но отец на этот раз не успокоился. К нему вошли. Старик, побагровев, продолжал выкрикивать брань и вдруг упал. Думали, что с ним второй удар (первый был года полтора назад). Поднялась суматоха. Но старик скоро очнулся, и у него началась рвота. Первую минуту не догадались вызвать доктора, теперь бросились к телефону. Но, несколько прийдя в себя, старик требовал: «нотариуса», — требовал так настойчиво, повторяя одно слово, что решили исполнить его волю. Вызвался разыскать нотариуса дядя Гриша (?) *. Все потеряли голову, никто не мог ничего сообразить, и Ирина дала дяде Грише 25 рублей, чтобы тот взял лихача. Но дать этому человеку деньги значило наверное — направить его в трактир. Так и случилось. Дядя Гриша пропал, и нотариус так и не явился. Но через час (не раньше), наконец, приехал доктор, какой-то чужой, потому что никого из знакомых не оказалось дома. Доктор, довольно молодой человек, чрезвычайно не понравился старику, которому становилось все хуже и хуже. Ходаков не желал отвечать на вопросы доктора, гнал его и опять повторял: «нотариуса... завешание»: говорить свяно он уже не мог. Доктор прописал промывательное и рвотное, но ста-

* Знак вопроса — рукой Брюсова.

рик отказывался принимать лекарство и не допускал <1 нрзб> себя. Никто не смел оказать насилие над грозным Ходаковым. Время шло. Рвота усиливалась. Матрена О. (?) сама упала без чувств и пришлось хлопотать еще об ней. Одна Анна сохранила присутствие духа. Она несколько раз звонила по телефону брату, но Федора не было дома. Упорно звонила Анна и знакомым докторам. Наконец, только в 10 часов вечера приехал Б., старичок, которому Ходаков доверял. Доктор пришел в ужас, узнав, что до сих пор, в сущности, ничего не сделано. Старик к тому времени уж потерял сознание. Б-в выслал всех из комнаты больного и послал за другим доктором, который тоже вскоре приехал. Что делали с больным, Ирина не знает, но около 11 часов Б-в вышел в гостиную, очень бледный, и объявил, что его пригласили слишком поздно, что ничего уж сделать нельзя. Матрена О. (?), придя в себя, заголосила отчаянно и тотчас послала «за попом». Тогда и Ирине от волнения и потрясений сделалось дурно. Что было потом, она почти не знает. Ее отнесли к ней в комнату. Потом пришла туда Анна, очень бледная, но владеющая собой, и объявила, что отца отравили. Ирина спросила: «Кто же мог это сделать?» Анна ответила, медленно произнося слова: «Кто? Ты не понимаешь? Кому было нужно, чтобы отец умер?» Ирина все еще не понимала страшного намека. Тогда Анна сказала: «Яд был брошен в кофе, который отец пил вместе с Федором, а они были вдвоем в комнате».

— Я, — рассказывала Ирина, — в негодовании вскочила с кровати, я закричала не своим голосом: «Да понимаешь ли ты, что ты говоришь?» Анна мне ответила: «Вполне понимаю, * но ведь если это сделал не он, то или я, или ты, или мамаша: выбирать можно только из четырех». Я просто ум потеряла, что-то говорила, сама не знаю что, а Анна посмотрела на меня строго и вышла из комнаты. Потом я слышала, приказали тебя не допускать в дом, если ты вдруг придешь. Но я больше ни с кем не говорила, всю ночь не спала, и сегодня я — как безумная.

Ф(едор) выслушал этот рассказ, как выносят трудную операцию, сжав зубы. Он только спросил:

— И мамаша?

— Ах, Фео! Совсем ты не знаешь своей матери! Разве ж у нее есть свои мысли?

— Но ведь я ее сын!

— А Анна ее дочь, и теперь Матрена Тихоновна только и твердит: «Проклял его покойный, проклял! И я проклинаю материнским проклятием! Анафема!»

— Да ведь это же бред! — почти закричал Фео.

Ему (?) все еще не верил(ось), что в самом деле, с сегодняшнего дня он вдруг оказался подозреваем в убийстве, нет! в отцеубийстве! Вчера он был всеми уважаемый человек: сегодня — преступник. Хотелось закричать, как кричат дети, когда игра начинает пугать: «Не хочу больше играть!»

Ирина стояла перед Федором, по-прежнему бледная, как бывают бледны только привидения на сцене. Ф(едор), наконец, собрался с духом, чтобы расспросить ее, но тут Ирина остановила его, кивком головы указав на другой конец сада. Там стояли двое юношей и пристально смотрели на Ирину и Федора, однако не делая ни малейшей попытки подойти и поздороваться. Федор знал их: то был его троюродный брат **, Леонид Игоревич Кромчеделов и его два товарища ***, Рецкий и Лоботов.

* Далее зачеркнуто: а если ты не хочешь понимать, го, может быть, потому что заранее знала об этом плане

** Далее зачеркнуто: Игорь

*** Далее зачеркнуто: Ирещкий



И. А. БАКУЛИН, М. А. БРЮСОВА, Е. Я. БРЮСОВА — ДЯДЯ, МАТЬ и СЕСТРА ПИСАТЕЛЯ

Фотография, конец 1890-х годов

Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва

— Пойдем во флигель, — непотом позвала Ирина, там никого нет и можно договорить.

Федор опять безвольно повиновался, и они быстро прошли по боковой дорожке во флигель.

XI

Леонид * покачал головой.

— Присутствие духа! Приехать на панихиду!

Рецкий переспросил:

— Ты серьезно думаешь, что *это* — он?..

— Кто же другой? Сочти. Некому.

— Но зачем было? Он и без того наследник всему.

— Во-первых, — время: старик мог легко прожить еще лет 10, а то и больше. Во-вторых, ты говоришь «наследник»; однако старик перед смертью спрашивал нотариуса, хотел, значит, изменить завещание.

— Все-таки не верю! Тогда не приехал бы сюда.

— Ты забываешь: отец! панихида по отце! Ведь он не дурак же. Не приехать значило бы сделать признание: мол, я.

— Но если это так явно, его арестуют, будут судить и он ничего не получит. Ты сам сказал: ведь не дурак же он: это-то мог сообразить.

— Арестуют? А доказательства? Надо полагать, он сумел чистенько срезать концы. Арестуют, поддержат и принуждены будут выпустить.

— А скандал? Ведь он будет скомпрометирован навсегда!

— Ми-илый! Десять миллионов! Золото оmyвает всякую грязь, и из золотой ванны выходят белыми, как вершина Девы! Кстати: заметил ты, что они ушли, едва мы стали смотреть на них?

* Было: Игорь

— Так что же?

— На языке прежнего времени это называлось термином «совесть».

— Ну это совсем вздор! Просто, кому охота, чтоб на него смотрели в упор. Кстати, кто эта девица с ним?

— Как ты не знаешь? Почти что сестра его. Есть Анечка, родная сестра, и есть Ирочка, полуродная сестра, бедная родственница, которая с детства воспитывалась с ними, с Аней и Федором.

— Они дружны?

Леонид * наклонился(?) к Рецкому и проговорил почти шепотом:

— Подозреваю, что не то что дружны, а проводят ночи на одной постели.

— Ну, послушай! — Рецкий искренне возмущился. — Ты же сам сказал, что она ему почти сестра.

— Тем пикантнее связь.

Игорь говорил все свои чудовищные обвинения с особой снисходительной улыбкой, которую тщательно заучил перед зеркалом и которой умел управлять в совершенстве. Рецкий был гораздо проще, и его еще корбило от цинизма друга. Чтобы перевести (?) разговор, Рецкий спросил:

— Что же твоя «тень»?

— А в <I нрзб>

«Тенью» на жаргоне друзей назывался их третий спутник, Лоботов, занимавший странное амплуа: полутоварища, полулакея. Игорь платил Лоботову 50 р. в месяц на том условии, чтобы он всегда сопровождал его и заносил в записную книжку все, что Игорь скажет интересного или остроумного. «Гениальные мысли соскальзывают с языка случайно. — объяснял Игорь, — и теряются (?), если их не подбирать». Лоботов, молчаливый юноша, гимназист, не кончивший курса, с необычайной покорностью переносил свое двусмысленное положение, участвовал во всех кутежах своего патрона-товарища (на его счет, разумеется), спал с ним в одной комнате, расставаясь только на те часы, когда Игорю приходила в голову мысль — зайти на лекции в Университет, ибо Игорь был еще студент.

Мановением руки, которое сам Игорь определил бы как «царственное», он сделал знак Лоботову подойти и взял у него карнет с записями. На последней странице было аккуратно записано: «Золото омывает всякую грязь, и из золотой ванны выходят белыми, как вершина девы».

— Видишь! — торжествующе показал Игорь, — я и сам не заметил этого афоризма. А ведь не дурно сказано, а?

Тут же Игорь взял у Лоботова карандаш и хотел сделать поправку, но остановился.

— Нет, не надо, — сказал он. — В сущности вы (он обратился к Лоботову) ошиблись: я имел в виду Деву-гору, т. е. Юнгфрау, а вы написали «дева» с маленькой буквы. Но... пусть так остается: «девы». Это пикантнее! «вершина девы», а? Это даже — что-то загадочное! Запишите еще один афоризм: «Иногда острота возникает из ошибки, красота из случайности, и истина из лжи».

XII

Газеты были переполнены сенсационным делом об отравлении миллионера Ходакова. Был период, когда писать было «не об чем», а если бы газеты и пытались писать об «чем-нибудь», то «чуткая цензура» быстро стесняла «в журнал<ных> выходк<ах> балагура». <На этом текст обрывается>

* Было: Игорь

* В невольном порыве он обнял ее и поцеловал, как бывало целовал в детстве. И именно в эту минуту, как то бывает в театре, на сцене, вошли мать и сестра Анна. Федор неловко отшатнулся и, все еще продолжая чувствовать по-детски, не знал, что делать. На мгновение он стал ребенком, которого старшие застали за шалостью.

Конечно, это чувство прошло тотчас и сразу мелькнула мысль, что настало время решительно выяснить положение. Федор пошел навстречу матери, говоря твердым голосом:

— Мамаша! Вы со мной и поздороваться не хотите! Неужели, мамаша, вы на одну минуту могли поверить глупым выдумкам разных негодяев? Разве вы меня забыли, разве не знаете, как я люблю отца!

Фраза была подготовлена, и Федор сам сознавал, что она прозвучала фальшиво. Но Матрена С. была ведь не из тех, кто способен разбираться в оттенках произношения. Федор рассчитывал на ее простой здравый смысл и материнское чувство.

Может быть, будь они наедине, все и произошло бы так, как Федор ожидал. Матрена остановилась в недоумении, колеблясь, что ответить. Она так привыкла повторять чужие слова, что всегда терялась, когда ей приходилось говорить самой за себя. И уж она начала:

— Да ведь, Федечка, вот тут говорят...

Но Анна стремительно заслонила мать. Высокая, стройная девушка, Анна приняла театральную властную осанку и, строго глядя на брата, отчетливо произнесла:

— Федор! Мать тебя любит. Мать тебе способна простить *все* (слово «все» было резко подчеркнуто). Но сам ты считаешь себя вправе пользоваться снисхождением матери, пока *это* подозрение над тобой тяготеет? Не должен ли ты сначала оправдаться перед всем миром, а потом уже прийти к матери?

Последнее время Федор и Анна, правда, были в ссоре. Но никогда Федор не ожидал, чтобы сестра могла принять такой тон в разговоре с ним. Это было что-то невероятное, несообразное. Федор сознавал, что в присутствии матери должен был бы говорить мягко, действовать на чувства старухи, но грубость сестры возбуждала в душе такое негодование, что сдерживаться не хватало сил. Все же, еще не повышая голоса, Федор возразил:

— Тебе не стыдно того, что ты говоришь, Анна? Ведь мы с тобой прожили всю жизнь вместе. Ведь не можешь ты в самом деле считать, что это я — принес какой-то яд, всыпал его в кофе отцу, отравил старика? Ведь это же последняя несообразность для каждого, кто меня знает!

Все продолжая смотреть в упор в глаза Федору, Анна раздельно произнесла:

— Да, я тебя знаю, Федор, — знаю. И я помню, чему ты меня учил, когда я была девочкой. Теперь, может быть, поздно, а я хорошо помню те твои рассуждения, — о кураре. И даже (Анна сделала паузу) у меня сохранилась одна твоя рукопись под названием «Право сильного». Ты ее помнишь?

Это был уже такой удар, от которого Федор сначала побледнел, потом покраснел багрово и потерял все самообладание. То, что называется «кровь бросилась ему в голову». Он почти закричал на сестру.

— Подлая! Ведь ты же знаешь, что это мальчишеские глупости! А ты мне что в те дни говорила? Помнишь твои мечты об том, чтобы продаваться на бульваре? А! Это ты забыла!

Минута — и произошла бы безобразная сцена, так как Федор, не видя другого способа доказать свою правоту, был готов схватить свою сестру за ворот и бить ее кулаком по <1 нрзб> лицу. Вмешалась Ира.

— Федя! Аня! Вы себя не помните! Разве ж так можно? После, после! Теперь разойдитесь. Федор, уходи! Уходи, я прошу тебя.

Анна тоже опомнилась и сказала матери, которая беспомощно смотрела на происходящее:

— Мама, пойдемте. Вы видите, ему ничего другого не осталось, как оскорблять нас.

Федор круто повернулся и в два шага был в передней. Ему не хотели <2 нрзб>. Ира, что-то повторяя ему вслед, кажется, догоняла его, но Федор сорвал с вешалки пальто и шляпу, не надевая их *, толчком ноги растворил выходную дверь и выскочил на двор, когда <4 нрзб> шептал, стоя в углу:

— Господи Иисусе, да он словно белены объелся.

У подъезда Федор постоял несколько мгновений, подумал, не вернуться ли, чтобы теперь, когда, кажется, все посторонние разъехались, пойти проститься с покойным отцом, но потом вздернул плечо, зашагал к калитке ** и через минуту уже ехал домой, закулив папиросу, хотя сердце продолжало биться от волнения.

Намек Анны относился к действительному факту. То было *** больше 10 лет тому назад, когда Федору было лет **** 15, а Анне ***** едва 13. В те годы до Федора дошли сочинения Ницше, и Федор весьма был под обаянием автора Заратустры, конечно, по-своему толкуя соблазнительные максимы. В те годы ***** брат и сестра были неразлучны: между ними существовала — не то что дружба, но нечто большее, какое-то единение юных душ. Они откровенно веровали друг другу все самые тайные свои помыслы. Доходило это до того предела, что когда Федор, 13 лет, поступил в гимназию и там от товарищей в скором времени узнал теорию полового вопроса, он, нимало не поколебавшись, поспешил поделиться дома своими новыми знаниями с сестрой ******, которая была почти на два года моложе его. И Ане это не показалось странным: ей нисколько не было стыдно слушать рискованные признания от мальчика, потому что этот мальчик был ее брат Федя; напротив, Анна, может быть, скорее постыдилась бы говорить о чем-либо подобном с Ирой или с другой девочкой. Все, что в следующие годы проходило через душу Федора, он тоже приносил сестре, и они просиживали целые часы в интимных беседах; сначала на эти странные беседы Ира не допускалась как «маленькая» (она была еще на 3 года моложе Ани, следовательно, на 5 лет моложе Федора), потом ей позволили присутствовать в стороне, так сказать «без права голоса», и лишь последний год, когда Федор уже кончил гимназию, Ира сделалась полноправным членом их «тройственного союза».

Не удивительно поэтому, что когда Федор подпал под власть Ницше, идеи Заратустры скоро стали известны и Анне. Федор теперь готов был целые часы, свободные от приготовления уроков, развивать перед сестрами теорию «сверхчеловека», «вечного возвращения» и пребывания «по ту сторону добра и зла». Анна, как всегда, слушала брата как оракула, каждое его слово считая святыми и нерушимыми истинами. Jugare in verba ша-

* Далее зачеркнуто: трясущимися руками

** Далее зачеркнуто: Извозчик Федора оставался последним у ворот; Федор успел принять спокойный вид, сел и распорядился ехать домой.

*** Далее зачеркнуто: около; десять; 15 тому лет

**** Далее зачеркнуто: 15; 14, а Ане лет 11; не было и 12; 11; 12

***** Далее зачеркнуто: не было и 14

** : *** Далее зачеркнуто: все трое, Федор, Анна и Ира

*** : *** Далее зачеркнуто: сестрами, которым было одной 11, а другой всего 9 лет

gistri * было столь для нее естественно, что когда Ирина, несмотря на свою молодость, первая осмелилась делать критические замечания, это привело Анну в некий ужас. Оспаривать Федора! Это было что-то вроде святотатства! Один раз Анна была так разгневана на Ирину, которая усомнилась в справедливости какого-то утверждения Федора, что схватила подвернувшуюся под руку маленькую кочергу и с размаха ударила свою подругу по спине. Ирочка упала без сознания. Конечно, это напугало Анну, она бросилась подымать Иру, приводить ее в чувство. Характерно для двух девочек, что Ира никому не сказала о происшедшем, хотя ушиб болел у нее после того несколько недель; а Анна, которая сначала заливалась слезами, каялась и на коленях умоляла «простить, совсем простить» ее, после только сильнее возненавидела Иру, к которой, в сущности, всегда таила скрытую злобу **.

Увлекаясь Ницше, Федор сам стал писать афористические сочинения в манере своего учителя. Эти первые опыты пера благоговейно собирала Анна, которая тщательно переписывала их в цветные тетрадки, каллиграфически выводя на первой странице: «сочинение Феодора Ходакова (Москва)», — ей почему-то особенно нравилось это добавление города, может быть, потому, что в немецких научных журналах приват-доценты мелких университетов часто *** ставили название города после подписи. Среди этих рукописных трактатов юного философа было одно, носившее заглавие: «Право сильного. Прологомены к суждению о природе всякого права». Федор Ходаков (Москва) доказывал там не слишком новую мысль, что не только практически право опирается на силу, что закон имеет смысл лишь потому, что <2 нрзб> придает полиция и армия, но что и теоретически, отвлеченно, идея права есть трансформация идеи силы. В трактате юный автор, видимо желая уподобиться дерзновенному Заратустре, приходил к ряду парадоксов, вроде того, что быть сильным всегда есть и быть правым, что слабый всегда неправ и т. д. Последовал вывод, что «кроме силы, нет иного права в мире. Желание становится правом, когда оно сопровождается возможностью его исполнить; желание есть преступление, если нет силы его осуществить. Грех есть бессилие, преступление есть отсутствие возможности. Достаточно желать и мочь, это и значит — быть правым. Если ты можешь, ты и имеешь право».

По поводу этого трактата между сестрой и братом был долгий разговор. Анна спросила, способен ли брат применить свои идеи в жизни. Конечно, неофит-ницшеанец, не задумываясь, ответил утвердительно. Да, он, Федор, будет жить так, как он мыслит; он будет видеть себя правым тогда, когда будет силен ****; «Если я буду чего-либо хотеть, — говорил Федор, — я спрошу себя: есть ли во мне, во-первых, внутренняя нравственная сила совершить это и, во-вторых, внешняя, физическая возможность это исполнить: если есть и то и другое, я буду считать себя вправе осуществить свое желание». — «А если, — спросила сестра, — твое желание будет такое, что это будет преступление? если ты, например (?), пожелаешь украсть или убить? Федор на такой вопрос рассердился и стал гневно выговаривать сестре, которая от этого вся засмущалась: «Значит, ты ничего не поняла в моем трактате! Какое-такое может быть *преступление*? Ты говоришь: убить. Если я чувствую, что не могу убить, что меня будет мучить угрызения совести, раскаяние и все такое, тогда да, убить будет преступление. И если я чувствую, что не в силах убить, т. е., ка-

* Слепо верить (лат.).

** Слово злобу описано над *незачеркнутым* словом ненависть

*** Далее *зачеркнуто*: подписывались: такой-то aus Heidelberg или aus Jena.

**** Далее *зачеркнуто*: иного права — нет в мире: достаточно *желать* и *мочь*, это и значит — не совершить преступления. Желание стан

пример, тот, кого я хочу убить, сильнее меня, не дастся, тогда мое желание будет преступлением. А если я знаю, что раскаиваться не буду, и знаю, что у меня хватит силы проломить такому-то череп, я имею на то право!» Но Аня все еще не понимала и спросила: «А если тебя будут судить?» Тут Федор не выдержал и самым откровенным образом выругался: «Дура! Если я боюсь суда, так я нравственно бессилён! Если я не умею увернуться от суда, значит я физически бессилён. В обоих случаях убийство — преступление. А если я суда не боюсь и если достаточно ловок, чтобы никто меня не мог уличить, я — прав». Разговор продолжался еще долго, и Федор, конечно, и забыл, что тогда он до последней крайности развивал эту свою теорию: убивать можно, только надо иметь крепкие нервы, сильные руки и сообразительную голову.

На этот именно трактат и намекнула Анна в последнем разговоре. Федор ответил другим намеком, который Анна должна была хорошо понять. Это был другой факт их юности, случившийся года на 2½ позже, чем обсуждение трактата о «праве сильного». Между братом и сестрой еще продолжали оставаться прежние отношения и они по-прежнему поверяли друг другу все самые интимные свои мысли. Анне шел уже 15-й год; она развилась рано и на вид казалась старше своего возраста: у нее уже была довольно развитая грудь, почти женские бедра, и она уже давно знала ежемесячное женское недомогание (о начале которого тоже не преминула сообщить брату, что, может быть, всего более доказывало их близость, ибо нет ничего другого в жизни, что девушка так стыдливо скрывала бы, как первое появление этих недомоганий). Тогда, «по пятнадцатому годку», как говорил(а) Васильевна (?), Анну уже волновали далеко не детские мечты. Рано ознакомившись с теорией страсти, она томилась желанием ближе изведать запретный плод. И часто вечерние (?) беседы с братом были посвящены этой рискованной теме. Федор в то время уже не был новичком в «любви»: с товарищами он уже изведывал удовольствие продажных ласк «по 2 рубля за час». Анна, замирая и бледнея, расспрашивала брата, что именно он испытывал, и Федор, — настолько он привык говорить с Анной как с самим собой, — просто и откровенно рассказывал ей, как сделал бы это школьному товарищу. Вот в один из этих вечеров Анна и призналась брату, что ей соблазнительно хочется разыграть роль продающейся женщины: выйти на бульвар, позвать «пригласить» себя какому-нибудь прохожему, пойти с ним в гостиницу и там отдаться ему. Федор был уже достаточно опытен и умен, чтобы настойчиво отклонить сестру от ее безумного проекта. Доводы брата были столь несомненны, что Анна должна была отказаться от своих эксцентрических мечтаний и «покаялась» брату, что никогда не сделает этого опыта.

В горячке спора Федор бросил сестре, как парирующее обвинение, это напоминание. Но Федор понимал, что его удар был слабее. Сестра напомнила ему ту теорию, которая придавала какое-то вероятие низким обвинениям... А что же было в намеке Федора? Анна могла в конце концов ответить: «Ты сам, будучи старше меня на два года, развращал меня», — и будет в значительной степени права. Федору становилось все тяжелее и тяжелее на душе, по мере того как он приближался к дому. Хотелось скорее от всех спрятаться, броситься на кушетку, закрыть глаза и не думать ни об чем, позабыть события последних суток. *(На этом текст обрывается).*



ДОМ БРЮСОВЫХ

Москва. Цветной бульвар, дом № 24 (ныне — № 22)

Здесь Брюсов жил до сентября 1910 г.

Фотография, 1890-е годы

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

* В каждой газете читались более или менее сенсационные заголовки: «Таинственное убийство миллионера», «Отравленный миллионер», даже «Преступление вокруг миллионов», и только «Русские ведомости», со своей обычной сдержанностью, удовольствовались заметкой в двадцать строк в отделе «Московские вести». Однако эта заметка содержала все существенное: **

К кончине В. Т. Ходакова. Кончина В. Т. Ходакова *** продолжает служить предметом оживленного обсуждения в кругах московских коммерсантов, среди которых покойный был хорошо знаком как владелец известной мануфактурной фабрики, больших магазинов в городе и других торговых предприятий. Как теперь выяснилось, смерть произошла при обстоятельствах, возбуждивших подозрения, так что по требованию судебных властей было произведено вскрытие тела, обнаружившее наличие сильно действующего яда. Остается неясным, имело ли здесь место преступление или несчастная случайность. Следствие поручено судебному следователю по особо важным делам, но пока по делу никто не арестован. Состояние В. Т. Ходакова и принадлежащую ему недвижимость оценивают в сумме до десяти миллионов рублей, причем главным наследником является единственный сын покойного, Федор Васильевич Ходаков, неизвестный в научных кругах Москвы своими докладами в ученых

* Фрагмент VII.

** Далее зачеркнута первоначальная редакция газетной заметки «Кончина В. Т. Ходакова», почти совпадающая с редакцией, вошедшей в дальнейший текст романа.

*** Далее зачеркнута: хорошо известного всей коммерческой Москве

обществах по вопросам астрономии. Покойный Василий Тимофеевич Ходаков скончался в преклонных годах, почти 73 лет от роду; он состоял церковным старостой своего прихода, почетным членом многих благотворительных обществ и неоднократно делал крупные пожертвования на дела благотворения.

На этой скромной канве бульварной прессой были расшиты самые причудливые узоры. Одна газетка не стесняясь намекала на подозрения, возникшие против Федора Васильевича, и один вечерний листок даже красноречиво рассказывал, как «преступник» приехал было на панихиду по отце, но не вынес вида своей «жертвы», побледнел так же, как лежащий в гробу мертвец, и «выбежал из дома». Другая газета, не менее развязная, рассказывала, что когда Федор явился на панихиду, его встретила мать, которая, глядя ему в лицо «горящими глазами», спросила повелительно: «Отвечай! Чувствуешь ли ты себя вправе здесь присутствовать?» — в ответ на что преступный сын не мог произнести ни слова и, потрясенный, немедленно покинул дом. Впрочем, в этой газете имена были заменены инициалами: Х. и Ф. В. Наконец, в третьей газете, уже совершенно «желтой», было прямо написано: «По слухам, которые мы еще не могли проверить, арестован, по подозрению в отцеубийстве, сын покойного». Но, чтобы лишить заметку характера клеветы, газета добавляла: «Мы хотим верить, что эти слухи ошибочны или что, по крайней мере, подозрения окажутся несправедливыми. Сердце отказывается верить, что у молодого человека не хватило терпения дождаться естественного конца своего более чем 80-летнего отца!»

Федор читал эти заметки, и его охватывала дрожь ярости при таких наглых оскорблениях. С лихорадочным* волнением разворачивал он газетные листки, принесенные ему, торопливо ища соответствующие заголовки и читая новую гнусность, направленную против себя. Что нужно было сделать? Поехать немедленно в редакцию, пригрозить судом или личной расправой? Может быть, редакторы этих листков и смутятся, принесут свои извинения, дадут обещания не печатать бол^ьше ничего подобного, но все то, что напечатано, — уж прочтено всей Москвой! Да и противно было Федору лично разговаривать с людьми, которые печатно называют его убийцей. Поехать в полицию и там просить защиты от нападков прессы? Федор слишком уважал печать, чтобы унизиться до такого приема. Написать письмо в редакцию? Но что же сказать в этом письме? «Господа, я не убил» или «Пока не доказано, что я виноват, никто не имеет права меня обвинять»: все было одинаково грубо, не то отвратительно, не то смешно. Во всяком случае то, что напечатано, — уже напечатано, уж вся Москва прочтала это, и если завтра появится любое «опровержение», оно не сотрет впечатления сегодняшних заметок.

Подавленный волнением, Федор почти позабыл, что ему надо ехать на похороны. Это воспоминание обожгло его словно раскаленным железом. Нет! вмешаться в толпу, среди которой каждый прочел все гнусности, напечатанные в газетах? Идти за гробом, когда кругом будут шептаться: «Это Федор Васильевич, тот самый... а читали вы, как сегодня...»

Федор, кажется заскрежетал зубами, как дантовы грешники, при этой мысли. Нет! он не может, не в силах повторить вчерашнюю пытку в удесятеренной степени! Не может выставить себя на позорище перед всеми этими тупоумцами, толстосумами, увешанными бриллиантами купчихами, своими родственниками, близкими и далекими, праздными зеваками, которые стекутся на дешевое зрелище «богатых» похорон! Все они станут смаковать каждое слово газетных писак, даже зная, что напечатанное — ложь, будут злорадствовать тому, как ловко это «за-

* Далее зачеркнуто: порывом покупал он все вновь выходящие листки

корючено!» — «не хватило терпения дожидаться естественной кончины». Мать опять отвернется, сестра оскорбит, дядя не подадут руки, безграмотные купцы будут торжествовать: «Вот оно, ученье-то!», а футуризирующие племяннички презрительно заявят <?>: «Не сумел даже ловко вывернуться!» Нет! Этого вытерпеть нельзя: Федор не поедет.

Но что тогда скажут об его отсутствии на похоронах? Скажут, что угрызения совести не позволили ему присутствовать на похоронах того, кого он убил! Обрадовавшись безнаказанности своих первых заметок, фельетонисты распишут всё это в 10 раз подробнее. Каких риторических фраз не наговорят гг. сочинители трогательных газетных статей, к которым всем применимы стихи Грибоедова:

Когда ж о честности высокой говорит,

Каким-то демоном внушаем,

Глаза в крови, лицо горит...

И крепко на руку нечист.

Мысли Федора путались, и вдруг раздался звонок. Швейцарша, убравшая соседнюю комнату, пришла доложить: «Там вас господин спрашивает». На карточке стояло: «Гр-ский». Федор не без труда вспомнил, что это тот поляк, который первый сообщил ему, в Обществе любителей телескопов, о смерти отца.

Гр-ский вошел размашистой походкой, как входят в комнату лучшего друга, «с распростертыми объятьями», так сказать.

— Дорогой Федор Васильевич! Здравствуйте! Как я рад, что застал вас еще дома! Я приехал предупредить вас (Гр. не совсем чисто говорил по-русски). Простите мою дружескую навязчивость. Но вы не должны поехать на похороны.

Минуту до того Федор сам пришел к такому же выводу, но вмешательство постороннего заставило тотчас возразить резко, едва пожимая руку гостю:

— Извините, собственно почему вы считаете себя... призванным давать мне такие советы?

Гр. обладал неисчерпаемым благодушием, которое не могли поколебать никакие резкости.

— Дорогой Федор Васильевич! Я понимаю, в каком вы состоянии! Я читал все это (жест в сторону вороха газетных листов), но сейчас вы должны довериться дружескому принуждению. Мы встречались мало, но, верьте, я, в душе, всегда вас глубоко чтил. Да мы ведь не были обыкновенными знакомыми, я вас выделял из ряда друзей...

Гр. тараторил быстро, с той скоростью произнося слова, как то умеют делать лишь французы и иногда поляки. Из речи оказывалось, что Гр. «в душе» всегда признавал Федора своим лучшим другом, то есть, о! не — другом, он, разумеется, не имеет права притязать на такое высокое имя, но все же как бы другом, и потом, в трагический момент, как сейчас, что права дружбы, и т. д. и т. д.

Федор слушал не без брезгливого чувства, но он был бессилен перед этим потоком быстро льющейся речи, похожей на какой-то кисель, который быстро обволакивал душу, зацепляя все мысли и заглушая сознание.

— Ведь вы могли же заболеть, — не останавливаясь убеждал Гр., — да и в самом деле у вас очень больной вид. Мы сейчас телефонируем на дом, что вы лежите в постели и извиняетесь <?>. Мы даже доктора можем пригласить. Потому что, видите, вы никак не должны поехать.

Федор был по характеру упрям и способен на взрыв ярости. Но сейчас им овладело какое-то оцепенение, также ему свойственное, странное

безволие апатии. Он без возражений смотрел, как Гр. распоряжался в его квартире, звонил по телефону, извещал кого-то о внезапной болезни Федора, что-то приказывал швейцарше, распорядился даже, чтобы вскипятили несколько порций кофе. Только время от времени Федор вставлял всего два-три слова:

— Будьте любезны, в это дело не вмешивайтесь...

— Хорошо, хорошо! — успокаивал Гр. словно * капризничающего ребенка, — все будет по-вашему. Я только скажу одно слово. Барышня! № 5-12-47. Мерси. Алло? Дом Ходаковых?

И продолжал скользить по комнатам, распоряжаясь, как хозяин или доктор в доме тяжело больного.

Федор чувствовал такой упадок сил, что лег на кушетку; иногда ему казалось, что он теряет сознание. Смерть отца, чудовищное обвинение в убийстве, ночной приход Иры, посылка Генриеттой утренних газет, — все это сломило его душу. В это мгновение Федору было всё всё равно, всё безразлично, хотелось одного, чтобы его оставили в покое. Но именно этого не хотел Гр-ий.

Когда кофе был вскоре (?) подан, поляк придвинул кресло к кушетке, сел рядом с Федором и, глотая горячий напиток, заговорил.

— Теперь, дорогой мой, будем разговаривать серьезно. Это ж <1 нрзб>. Вы — человек неопытный в делах, вы не понимаете человеческой низости. Я, к сожалению, с ней хорошо знакомлен. Я вам все объясню. Вы думаете, эти статьи написаны случайно? Нет, дорогой мой, они инспирированы и оплачены. Вот за эту (он взял в руки один листок) заплачено двести рублей, мне это доподлинно известно. А эта (в руках поляка оказалась другая газета) стоила только угощения в Метрополе. Наконец, эта (то была заметка «по слухам») была только подписана одним сотрудником, а писал ее знаете кто? Я вам скажу. Ее писал Леонид Игоревич Кромчелов.

Федор буквально привскочил. Это имя прорезало муть его сознания, как луч прожектора.

— Леонид? Зачем?

— Вы видите, дорогой мой, как вы неопытны! Кто наследник после вашего покойного батюшки? Я предполагаю, что завещания не имеется, ведь так?

— Вероятно, нет...

— Так вот. Во-первых: вы и ваша сестрица, та в $\frac{1}{7}$ доли. Потом ваша мамаша, в $\frac{1}{14}$ доли. Потом еще кто? — дальние родственники. Какие? Потомки дядюшки вашего Прова Тимофеевича, тетушки вашей Марьи Тимофеевны и по известному желанию вашего батюшки — господин Кромчелов. Ясно? Как же, однако, проложить путь к наследству при существовании такого бесспорного наследника, как вы? Надобно его, этого бесспорного, устранить. Возникает гениальная идея. Устроить газетную травлю. Сегодня на похоронах вас ждали бы оскорбления всякого рода. Вы человек благородный, о! я вас знаю! Вы — высоко благородный человек. Что же вы делаете? Вы — так рассуждают эти господа — подавлены всеми этими обвинениями; вы хотите во что бы то ни стало доказать, что гнусные обвинения — ложь! Как вы можете этого достигнуть? Отказавшись от наследства. Вы этим как бы скажете: вы меня обвиняете, что я совершил преступление потому, что отец намеревался лишить меня наследства. А я от наследства отказываюсь. Это будет благородный жест, но, дорогой мой, простите меня, — жест неразумный! Ох, какой неразумный!

Федор слушал слова поляка, как сказку. Слабым голосом он спросил:

* Далее зачеркнуто: больного или

— А Аня?

— Ваша сестра? А вы не обратили внимания, как она относится к вам эти дни? Заметили? Поверьте, ей тоже полный расчет, чтобы вы отказались от своей доли.

Федор хотел рассердиться.

— Послушайте! Вы клеветеете на мою сестру.

— Не волнуйтесь, дорогой Федор Васильевич! Я ничего не утверждаю. Но сопоставьте сами факты. Я вам честию клянусь, что все эти газетные статьи инспирированы. Теперь припомните поведение Анны Васильевны. Она влияет (?) на вашу матушку; она внушает ей не впускать вас в дом; она отдает приказани(е) старым слугам...

Федор сел на кушетке, <2 нрзб>, произнес тоном, завершающим круг раздумий:

— Или вы сейчас говорите такую ложь, которую нет даже слов достойно определить, или все это — такая гнусность, которой я даже не мог вообразить.

— Вот именно! вот именно! — обрадовался поляк, — или то, или другое. Или я — гнусный клеветник и <вы> в праве (?) избить меня хлыстом, убить, как собаку; или я — ваш искренний друг, открывающий вам глаза на чудовищный заговор, затеянный против вас.

Федор опять лег, закрыл глаза и погрузился в свою апатию

Гр. был в восторге; он достиг своей цели. Сидя около Федора, он успокаивающим, убаюкивающим голосом продолжал свои объяснения, мешая факты, и не <4 нрзб> своей богатой фантазии, перемешивая правду и вымысел, опутывая Федора какой-то сетью низких подозрений и намеков...

ПОД СТЕКЛЯННЫМ ШАРОМ *

Записки наблюдателя жизни

(Нравы предреволюционной поры)

I

5 сентября 1913 года

Эту новую — уже которую! — тетрадь своего дневника начинаю сообщением, говоря условно, «печальным»: сегодня, накануне того дня, когда мне исполняется сорок шесть лет (как женщины, я признаюсь в своих годах лишь на этих интимных страницах), умер, как мы его называем, «наш дедушка», — точнее: двоюродный дед моей жены, Василий Тимофеевич Ходаков. Лет 15, даже 10 тому назад, когда я еще мог ждать, что и на нашу долю достанется что-нибудь из ходаковских миллионов, это известие произвело бы на меня сильное впечатление; но я уже давно примирился с мыслью, что из этого наследства мы не получим ни копейки, — в лучшем случае, по завещанию (если оно существует), «на добрую память» пару старых и плохих литографий, висящих в гостиной Таганского дома. Поэтому сообщение о смерти старика я принял совершенно без волнения, — выразил ровно столько участия, сколько требовалось приличием. Но Василий Тимофеевич Ходаков — слишком видная фигура в московском коммерческом мире, и в клубе (где я и узнал о смерти) все только об нем сегодня и говорили. Молва, как всегда, преувеличивала его состояние: насчитывали что-то до двенадцати миллионов, но я знаю, что это — неверно. Наличными деньгами у старика вряд ли было много больше *трех* миллионов рублей (помню, он сам говорил с гордостью: «оставлю по миллиону сыну, дочери и жене»), фабрика стоит приблизительно столько же

* Фрагмент IX

(но, при спешной ликвидации, не удастся выручить и половины), дом на Таганке — тысяч двести, если не меньше, дача в Сокольниках — едва ли тысяч пятьдесят: вот и все, — не набралось и 7 миллионов, вместо 12. Хотя, разумеется, и этого достаточно для человека, начавшего с того, что он был подмастерьем у портного и получал «жалованья» три рубля в месяц да хозяйский «харч»!

Видеман, который всегда все знает (он и принес известие в клуб), уверял, что кончина старика — загадочна. Возникли, будто бы, подозрения в отравлении. Когда я подошел к группе, обсуждавшей этот вопрос, все замолчали, так как меня считают родственником, и я ничего не узнал. Думаю, что эти предположения — вздор. Когда умирает видный человек, всегда начинают искать какую-нибудь особенную причину, ибо людей выдающихся (все равно чем: талантами, властью, богатством) окружающие привыкают считать бессмертными. Когда скончался Август, на 76 году жизни, стали уверять, что его отравила Ливия. Василию Тимофеевичу было 73 года: возраст, в котором естественно умереть и без отравы. Но личностям, вроде Видемана, всегда нужны новости сенсационные: это — атмосфера, которой они дышат и без которой чахнут. Если нет сенсации подлинной, они не задумаются «домыслить».

Вернувшись домой, хотел сообщить жене о смерти ее двоюродного деда, но она уже знала: ее известили по телефону. Я постарался рассеять у нее последние иллюзии относительно возможности получить наследство. Чтобы меньше было разочарования. Но — пора спать. До скорого свидания, новая тетрадь!

II

6 сентября, утро

Должно быть, смерть Ходакова станет злобой дня. В наше безвременье, в эту эпоху смертвення всех элементов жизни, которую мы переживаем после всышки 905—906 года, рады бывают любому происшествию чуть-чуть выходящему из ряда, чтобы превратить его в событие, — все равно, большому пожару, скандалу на заседании, ловкому мошенничеству: все-таки в дни, когда говорить и писать не об чем! Поэтому сегодня все газеты посвятили статьи «видному представителю коммерческой Москвы, известному благотворителю» и тому подобное. Одна даже успела за ночь достать и напечатать портрет, впрочем, столь же похожий на «почетного гражданина В. Т. Ходакова», сколько на любого старика с бородой: я никогда не видал такой фотографии у Василия Тимофеевича (он и снимался-то, кажется, раз или два раза в жизни, почитая фотографию таким же «бесовским наваждением», как новейший кинематограф), так что газетный портрет, вероятно, — вольное «сочинение» развязного репортера.

Но вот что плохо. Во всех газетах повторено, что кончина Василия Тимофеевича признана неестественной, что приглашенный доктор (надо узнать, кто именно) заподозрил отравление, что будет следствие и вскрытие. Кстати: в какой же ужас пришла добрейшая Матрена Тихоновна и с нею весь синклит ходаковских приживалок, когда стало известно, что покойника будут «резать»! И как она могла на это согласиться? Очевидно, потребовали не на шутку! И, наконец, самое плохое. В одной бульварной газетке это сообщение изложено буквально так: «В этот день у В. Т. Ходакова обедал его сын, Сергей Васильевич, который живет отдельно. После обеда отец и сын удалились в кабинет, куда им подали кофе. Говорят, что между ними произошло там довольно бурное объяснение, после чего Сергей Васильевич немедленно уехал, а Василий Тимофеевич почувствовал себя дурно, вскоре потерял сознание и, несмотря на усилия немедленно приглашенных врачей, скончался не приходя в себя. Предпо-



БРЮСОВ

С рисунка С. А. Виноградова. 30 апреля 1916 г.

«Известия Московского литературно-художественного кружка»,
вып. 14—15, сентябрь — октябрь 1916 г.

лагают, что имело место отравление. Следствие энергично ведется». — Ведь подобная заметка чуть ли прямо не обвиняет Сережу в отцеубийстве! Черт знает что такое! Печатать фантастические портреты — еще куда-сюда, но намекать, что человек совершил тягчайшее уголовное преступление, это — выходит за пределы!

Звонил к Ходаковым по телефону, но старый Онисим ответил мне, что все потеряли головы, а барышня, т. е. Анюта, «с горя больны-с, лежат-с».

Еду с женой на панихиду, назначенную в 12,— на месте узнаю все подробности. А ведь сегодня день моего рождения, но — «молчание!», как говорит гоголевский герой.

В тот же день, вечером

По случаю неожиданного траура, у нас приказано посетителям отказывать. Жена лежит, уверяет, что у нее — мигрень. Я рад свободе: могу на досуге беседовать сам с собой в этой тетради. А записать есть что.

Странное овладело мною чувство, когда мы подъехали к Таганскому дому Ходаковых, где последнее время я бывал ровно два раза в году: на рождество и на пасху, выполняя традиционный обряд поздравления. Мне почти стало казаться, что там, в Таганке, и не бывает ничего иного: всегда по-праздничному убранные «парадные» комнаты (куда обычно никто не заглядывает), огромный стол, уставленный всевозможными яствами и разноцветными бутылками, толпа поздравителей, лиц, с которыми встречаешься тоже два раза в году, и среди них непременно какие-то «батюшки» и «ваши преподобия». Сегодня дом имел иной вид, хотя и остался по-прежнему выходцем с другого света, одним из самых последних обломков купеческой Москвы Островского. У ворот, как в праздник, множество автомобилей, карет, колясок и щегольских пролеток; в «большой передней» — груды сложенных пальто, которым уже не достало места на вешалках; но в зале, вместо стола с закусками — стол, покрытый чем-то черным и белым, на котором простерто тело Василия Тимофеевича: буквально, как у Державина: «где стол был яств...» Явившихся на первую панихиду было так много, что трудно было протиснуться через толпу.

Мы хотели было пройти к Матрене Тихоновне или к Анюте, но Онисим, который внезапно принял чрезвычайно важный вид и стал распоряжаться как какой-то мажордом, решительно отказался «докладывать». — «Очень они расстроены-с, и барыня и барышня, не приказали никого до себя допускать, без исключений-с!» — так он нам объяснил. Мы узнали только, что вскрытие тела утром было и что, по всему, хотя доктора и «скрывают-с», яд, действительно, обнаружен.

Жена пошла к дамам, а я пожимал руки направо и налево и, что называется, «перекидывался словом» то с тем, то с другим. В сборе была * вся бесчисленная родня Ходаковых **, старые и молодые, мужчины и женщины, люди всех возрастов, всех положений в обществе и всех состояний. Был здесь почтеннейший Капитон Кондратьевич Клушин, как всегда *** степенно са́модовольный; был мрачный и словно подмигивающий Кузьма Трофимович Подсалазкин, купец еще старой складки, а рядом Игорь Александрович Кромчеделов, самоуверенный, «англизованный», с женой Варварой Трофимовной, уже одетой в новосшитый траурный «тайер», и с сыном, полуфутуристом Леонидом (около которого его alter ego — «знаменитый поэт» Лягушинский) ****; была вся семья Кумачниковых, отец, мать и две дочки-неразлучницы, Мотря и Феня; в сторонке жалась «бедная родственница» Вера Алексеевна Грамоткина, а Георгий Владимирович Лихов, напротив, как будто выставлял напоказ свой потерянный сюртук и починенные штиблеты, — но всех не перечислишь! Кроме родственников, были здесь все приживальщики и приживальщицы ходаковского дома и его постоянные посетители «с черного хода»: дядя Петя», «тетушка Улья-

* Далее зачеркнуто: все бесчисленное потомство

** Далее зачеркнуто. и Клушиных

*** Далее зачеркнуто: торжественно

**** Далее зачеркнуто: В сторонке жалась «бедная родственница» Ирина Ильинишна Твердая, а Георгий Владимирович

на», «мать Серафима» и другие, даже «странник Феодор»; были — соседи и знакомые по «городу» и по «приходу», кто — одетый по последней моде, с видом «неоцианта» из лондонского Сити и с пробором английского денди, кто — в длиннополом сюртуке, с оттенком «мы — по старой вере» и с волосами, расчесанными на двое; были, наконец, и совсем никому незнакомые, если только удавалось проскользнуть мимо бдительного надзора Онисима, который время от времени строго приказывал Петру, исполнявшему роль швейцара: «Этого гони: шантрапа!» В зале скучивались черные костюмы мужчин, атласные рясы батюшек, крепы дамских шляп и какие-то фантастические одеяния старозаветных купчих, с кружевными наколками на головах... Кроме дам, все стояли, ожидая хозяйку, и разговор-вполголоса был похож на жужжание роя пчел.

Замечательно, что в зале не было никого, кто мог бы играть роль хозяина. Ни Матрена Тихоновна, ни Аня не показывались; не появлялась даже Ирипочка (очевидно, она оставалась при Анюте). Но всего поразительнее, что не было Сергея. Меня это тревожило, тем более что, когда я решился назвать его имя, мои собеседники посмотрели на меня как-то странно. Не было сомнения, что газетная клевета сделала свое дело и бросила свои семена в души, падкие до всяких скандалов*.

Зато я узнал подробности о смерти Василия Тимофеевича: рассказал мне Подсалазкин, откуда их узнал он, я не мог дознаться: «Сказывали мне», — вот всё, что он мне ответил.

По словам Подсалазкина, Сергей действительно вчера обедал у отца. Последнее время их отношения еще ухудшились, поэтому от этого обеда ожидалось многое: думали, что состоится примирение между отцом и сыном (кто думал? Должно быть Аня и Матрена Тихоновна, — я точно записываю рассказ Подсалазкина, только изменив его намеренно неправильные. «простые» — «мы говорим по-простецки» — обороты речи). Обед прошел «ни так ни сяк»: столкновений не было, но Василий Тимофеевич несколько раз брови хмурил. (Рассказ весь был пересыпан такими мелочами, словно этот Подсалазкин сидел под столом и все наблюдал сам.) После обеда Сергей попросил у отца позволения переговорить с ним наедине. Пошли в кабинет к Василию Тимофеевичу: туда им подали *и кофе* (у Ходаковых после обеда подавалось кофе: одно из новшеств, бог весть почему принятых Василием Тимофеевичем, — «для желудка пользительно», объяснял он сам). Об чем разговаривали отец с сыном в кабинете, неизвестно, но было слышно (опять: кто слышал?), что голоса повышались: разговор явно шел крупный. Вдруг из кабинета послышался прямо крик. Семейные в испуге бросились к дверям, не смея, однако, войти, ибо перед «самим» все, не исключая Анюты, трепетали. Но дверь распахнулась, появился Сергей, очень бледный, посмотрел вокруг на всех, не сказал ни слова и побежал («рассказывают, что именно бегом побежал», — подчеркнул Подсалазкин) в переднюю; там Сергей спешно накинул на себя пальто и вышел, ушел совсем. Между тем Аня и Матрена Тихоновна осмелились войти в кабинет. Василий Тимофеевич был не бледен, а красен, в

* Далее зачеркнуто: Раздосадованный, я подошел к Подсалазкину и прямо спросил его:

— Вы не знаете, что Сергей Васильевич здесь?

Хитрый купец пристально посмотрел на меня и потом произнес осторожно:

— Я так рассуждаю, что оно, пожалуй, Сергею Васильевичу не совсем, может быть, удобно сейчас пожаловать. Оно, конечно, его батюшка скончался, и он, значит, выходит — глава всему, так сказать, — первый наследник и хозяин. А только по поводу этих самых слухов как будто выходит и неладно.

Подсалазкин нарочно коверкает свою речь на гостинодворский лад, тогда как может говорить совершенно правильно. Я решился возразить: — Неужели вздорные газетные сплетни могут иметь какое-нибудь значение?

Подсалазкин опять

раздражении крайнем, стучал кулаком по столу и повторял: «Прокляну! Лишу наследства! Всего лишу!» Увидя жену и дочь, Ходаков стал требовать, чтобы немедленно послали за нотариусом, чтобы составить новое завещание, лишаящее сына наследства. Так как это было не в первый раз, и прежде случалось, что после ссоры с сыном Ходаков начинал требовать нотариуса: «Сейчас, сию минуту, чтобы здесь был!» — то особого внимания на приказание не обратили. Дочь и жена стали успокаивать Ходакова, объясняли ему, что уже поздно, что нотариуса пригласят завтра, хотели уложить старика на диван и поставить ему горчичник (почему-то это был традиционный способ укрощать припадки ходаковского гнева). Но пока возились около старика, ему вдруг сделалось дурно, он зашатался и повалился в кресло без сознания. Всем присутствующим (а здесь были еще Ириночка и Онисим) тотчас пришла одна мысль в голову: удар! Побежали не за нотариусом, а за доктором; стали звонить по телефону ко всем соседним врачам. Ходаков между тем оставался без чувств; его перенесли на кровать и раздели. Первый доктор — какой-то Зайчиков — приехал не раньше, как через полчаса: он положил компресс на голову Ходакова и велел растирать ему тело. Это не помогало: старик не приходил в себя. Позже приехал доктор Свирляков, который всегда лечил Ходакова, но тоже ничего не мог сделать, чтобы привести старика в сознание. Всего, наконец, собралось пять врачей: целый консилиум. Старик хрипел, чуть-чуть приоткрывал глаза, смотрел мутным, бессознательным взором, но не шевелил ни одним членом, словно был парализован. Так Василий Тимофеевич и умер, часа через три после беседы с сыном и после *чашки кофе*, выпитой в его присутствии. Кто первый высказал предположение об отравлении, неизвестно; во всяком случае, несмотря на протесты Матрены Тихоновны, которая все это время «выла» и «ревмя редела», были опечатаны чашки с остатками кофе, назначено на утро вскрытие и сделано заявление судебным властям. Сегодня утром вскрытие состоялось, но результаты его держатся пока в тайне.

Рассказ Подсалазкина я выслушал с понятным волнением, но оспаривать его намеков не стал. Да и не было времени, потому что прибыли священники — служить панихиду: приходской и приглашенный из Донского монастыря, где покойный передко бывал. Одновременно появились в зале — Матрена Тихоновна, Анюта и Ириночка. Я едва успел с ними поздороваться, не мог сказать ни слова, но заметил, что Анюточка бледна необычайно, «как мел» или «как бумага», даже неестественно. Какой-то толстый господин, во фраке, с полным лицом и маленькими, словно наклеенными усиками — тип метрд'отеля из хорошего ресторана, стал «оправлять» покойного, вновь перекладывать венки, которых набралось уже немало, менять мешки со льдом и тому подобное, а батюшки начали готовиться к служению. Все мы, приехавшие «отдать последний долг», выстроились было, как на смотр, но тут произошло событие неожиданное и на меня произведшее впечатление поистине трагическое. Именно: вдруг появился Сергей Васильевич.

Я не заметил, как Сергей вошел в залу, но, случайно обернувшись, вдруг увидел его стоящим у окна; он был тоже очень бледен, почти как сестра. Я хотел было подойти к Сергею, чтобы поздороваться, как вдруг увидел такую сцену. Неподалеку от Сергея стояла, в своем безукоризненном траурном тайере, Варвара Трофимовна Кромчеделова. Сергей, по видимому невольно, по привычке воспитанного человека, шагнул к ней, поклонился и почти готов был поднять руку, чтобы пожать ту, которая протянется к нему. Должно быть, Сергей вошел только что и еще не успел ни с кем поздороваться и в тесноте не мог рассмотреть, где сестра и мать. И вот, — все это произошло в одно мгновение, — вдруг для меня и, конечно, для Сергея стало ясно, что Варвара Трофимовна ему *руки не подает*.

Почему это стало так несомненно, я даже не сумею объяснить: Варвара Трофимовна не сделала никакого резкого жеста, не отвела, например, руки в сторону, даже наклонила немного голову, отвечая поклоном на поклон, но всё же нельзя было сомневаться, по всей ее фигуре, по выражению глаз, что Сергей, если первый протянет руку, останется так — с рукой, «повисшей в воздухе». Я видел, что Сергей побледнел еще более, если то было возможно, как-то замер и вдруг резко отвернулся, должно быть, хотел скрыть свое потрясение. Повторяю: этот краткий миг мне показался — трагическим. Я невольно задержал свой шаг, чтобы дать Сергею время оправиться, но в ту же минуту раздался голос батюшки: панихида началась.

СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛП *

Часть первая

Глава I

Стояло безвременье, эпоха между двумя войнами и двумя революциями, тягостное десятилетие от седьмого до семнадцатого года, и именно его вторая, самая тяжкая (?) половина. Столыпина уже не было, но столыпинский дух еще был силен; общественные движения подавлены, лучшие надежды обесценены, воспоминания недавнего прошлого ** звучали далекой легендой. Прокатились и разошлись грязной пеной волны порнографии и пинкертоновщины, лиг любви и клубов самоубийц. Казалось: впереди ничего нет и ничего быть не может — тусклая беспросветная мгла, гнилой туман, в котором все свету как бы гасли, все контуры сливались в общее пятно. И этот туман медленно, но властно окутывал всю Россию, столицы и провинции, верхи общества и самый народ ***. Не во что было верить, нечего ждать и не хотелось ни думать, ни действовать, ни бороться, — жить день за днем, отдаваясь течению...

В эти дни, в этой тусклой мгле, самыми яркими огнями, которые одни преодолевали сырой сумрак, горели только фонари ресторанов, игорных притонов да публичных домов, все равно — роскошных или нищенских. К подъездам торжественных «отелей», с громкими названиями «Империал», «Интернациональ», «Метрополь», подкатывали вереницы авто; в скромные трактиры — «Москва», «Лондон» или «Ливорно», — вваливались уже пьяные чуйки и поношенные пальто; в кафе-шантанах этиали блистали со сцен татовскими и даже настоящими бриллиантами в ожидании шампанского и устриц, а в жалких «заведениях» пьяные Дины и Маруси хриплыми голосами выпрашивали пару пива; в изысканных салонах, содержатели которых наживали тысячи в сутки, проигрывались целые состояния и на карту шутя ставилось сто тысяч, а в задней комнате подозрительной пивной полуграмотные шулера обыгрывали в подержанные карты пьяного чиновника на двенадцать целковых... Но разница была только в обстановке, во внешнем: содержание, душа были везде одинаковы: то был всероссийский гашиш, который, ценой **** здоровья, состояния, а часто и жизни, давал обывателю похмельное забвение от мучительной действительности. «Играй, гармошка! Дашка, пляши!», «Кэк-уок амэри-кэн! <1 нрзб> брот!», «В банке сто сорок тысяч, даю!», «Раздевайтесь, девочки, все: плачу!», «Братцы, он девятку из рукава вытянул! Бей мер-

* Фрагмент X. Первоначальное заглавие: *Стеклянная башня — зачеркнуто.*

** Далее зачеркнуто: казались

*** Далее зачеркнуто: Не хотелось

**** Далее зачеркнуто: головной боли

те же ступени, отдавать шубу тем же швейцарам и садиться за те же столы, нередко даже не замечая, что дощечка на двери переменена и что они *, формально, сегодня находятся совершенно в другом учреждении, нежели вчера...

Около года назад ** электрическая дыня над подъездом с кариатидами освещала свежеотполированную медную доску со словами: «Инженерно-технический кружок». Потом, внезапно, двери подъезда оказались заперты и доска исчезла, но всего через несколько дней дыня опять засветилась, чтобы освещать черную <на этом текст обрывается>

ПРИЛОЖЕНИЕ

<План романа>

Стекланный столп

1-й вариант

Гл. I. Клуб

II. —» — Разговоры о смерти Вас<илия> Тимоф<еевича> Ходакова

[Типы:] Алексинский (1/2 Зейдемана)

[Сугрузов] директор

Ливерный

Сугрузов (1/2 прияте<ля>)

III. У Ходакова-сына Фео-дора Вас<ильевича>

III. У Медведникова(=Гиршм<ану>)

[Типы:] сам Медв<дников> и кучер

мол<одая> жена: Гликерия Павл<овна> (1/2 Генр<нетты>)

IV. О<бщество>во [акв] люб<ителей> телескопов.

[Ти<пы>:] [Ходаков jun<ior>]

Рысин, внуч<атый> плем<яник> Ходакова, и его «тень»

[Су] Кремлев осведомляет Х<одакова> — Ходаков

V. Фео заезжает домой. Швейцар.

VI. Дом Ходаковых. Две партии.

I. 1. В. Т. Ходаков

2. Матрена Тихоновна,

его жена

3. Тетя Феня

4. Дядя Костя

5. Лукерья Ниловна

(приживалка)

6. Серафимочка

(странница)

II. (Фео)

Ани Анна Вас<ильевна>,

его сестра

Дети В. Т.

и М. Т. Хо-

даковых

[Вера]

[Груша(Аграф<ена> Ни-

к<олаевна>Сахарова)]

[замужем,

дв<ояродная>

сестра]

[Вера (Ник<олаевна>Сахарова)]

[Груша]

Вера (Никол<аевна> [Зи-

н<аида> Ник<олаев-

на> Сохатая] Слон-

ская, ур<ожденная>

Сахарова)

дочери Марфы

Тим<офеевны>.

сестры В. Т.

Груша (Агр<афена> Ник<о-

лаевна> Сахарова)

Дунечка (Авд<отья> Серг<еевна> Милицы-

на), подруга Груши

M-lle Blanche (la Fayette), пожилая гувер-

нантка

VII Панихида. Сохатая (Олимпиада Григ<орьевна>)

В саду: Фео и Ани

VIII. Допрос у следователя

IX. Газетные известия. Вскрытие. Завещание.

* Далее зачеркнуто: в сущности

* Было: Месяца три назад

2-й вариант**Глава 1. Убийство**

2. Панихида
3. Свид(ание) бр(ата) и сестр(ы)
4. Тюрьма
5. Завеща(ние)
- 6.

3-й вариант**Глава I.**

1. Клуб
2. Разгов(ор) в клубе
3. У[Ход(акова)] Фео
4. У Медведни(ко)ва
5. О(бщество) Люб(ителей) т(елескопов)
6. Швейцар Х(одаковы)х

Глава II.

1. Дом Х(одаковы)х
2. Панихида
3. Фео и Ани
4. Леонид и (его друг) Вадим
5. Допрос

Глава III

1. Анна
2. Жизнь в доме